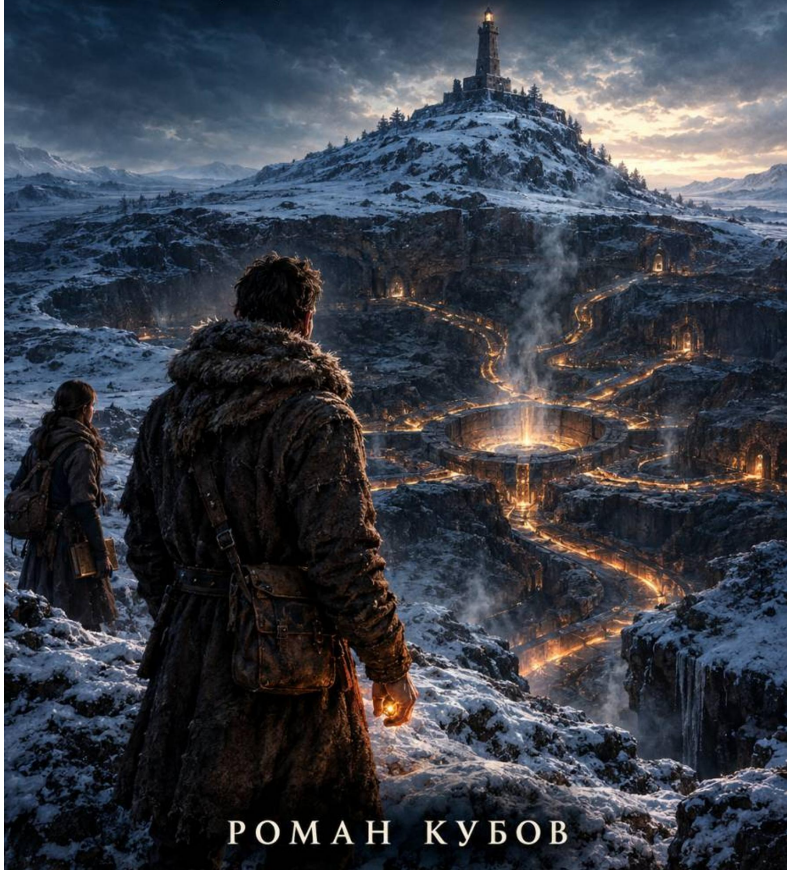


ЦИКЛ «ТЁПЛАЯ ЖИЛА» • КНИГА 2



СЕТЬ ПОД ХОЛМОМ



РОМАН КУБОВ

Роман Кубов

Сеть под холмом

<https://litres.ru/74639434>

SelfPub; 2026

Аннотация

Глеб Жиловей второй год хранит очаг, и чаша под башней стоит ровно. Зимой он понимает, что чаша — не печка и не дверь, а узел: от неё уходят пять ветвей под всем княжеством, и все пять выжаты и спят. Будить их нечем: не машиной и не приказом, а человеком, который не боится положить руки на камень. А таких людей надо ещё найти — и заплатить им так, чтобы они не ушли.

В княжество приезжает столичная комиссия: подьячий Сысой Вершин привозит предписание закрыть работы, а дом Зарницких привозит сорок три платных человека и сорок рублей трём понатым. Чтобы пустить воду, Глебу нужны все пять шахт княжества, подпись княжны Таисии и двадцать семь человек, из которых годятся девятеро.

Пуск назначен на четвёртое Капельника, семь утра. Шесть часов, семьсот девяносто одно ведро и пять концов, которые должны заговорить раньше, чем из столицы придёт вторая бумага.

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Студёная земля	10
Глава 2. След, уходящий вбок	23
Глава 3. Маяк	35
Глава 4. Чаша	48
Глава 5. Что сделали сорок лет назад	60
Глава 6. Сосед	72
Глава 7. Бумага из столицы	84
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Роман Кубов

Сеть под холмом

Пролог

Митроха Кудлатый знал про холод одну вещь: он всегда идёт сверху. Сначала мёрзнут пальцы, потом запястье, потом локоть, и если к этому моменту не уйти, мёрзнет то, что внутри, а это уже не отогреть.

Он сидел на корточках у входа в старый смотровой ствол, зажав руки под мышками, и смотрел, как Гордей Незван разворачивает на камне бумагу.

Бумага была дорогая, столичная, с водяным знаком палаты. На морозе она держалась плохо. Гордей прижимал один угол vareжкой, другой камнем, третий локтём и от этого походил на человека, который делит шкуру с невидимым соседом.

— Сколько? — спросил Митроха.

— Двенадцать саженей до ветви. Ты вчера говорил одиннадцать.

— Вчера я говорил на глаз. Сегодня мерил.

Гордей поднял голову. Лицо у него было гладкое, городское, с одной морщиной у правого глаза, — той, что появляется у людей, привыкших щуриться на цифры. Он не сер-

дился, когда его поправляли. Митроха за четыре месяца работы ни разу не видел, чтобы он сердился, и каждый раз это настораживало его, как настораживает ровный гул в выработке: тише, чем надо, значит, где-то держит.

— Мерил чем?

— Шагом. От поворота до завала двенадцать моих шагов. Шаг — сажень без вершка. Хочешь, ляг и послушай сам.

— Я не умею слушать, — сказал Гордей. — Я умею записывать.

Митроха вынул из-за пазухи огрызок карандаша и обрывок бересты, найденный на стоянке у Грани, и написал крупно, чтобы потом разобрать: «12 саж, ветвь спит». Карандаш был чужой, хозяйский, с обкусанным концом. Митроха двадцать лет писал чужим карандашом и к этому привык, как привык греться у чужого огня.

— Теперь внутрь, — сказал Гордей.

Ствол рубили не для добычи: полтора аршина в высоту, в стене через равные промежутки выбиты ступени. Такие делали, чтобы человек мог стоять и слушать. Так, по крайней мере, говорил Митрохе отец, который служил при сторожке на Гончарной, — а Гончарная была в другой жизни и в другой земле. Здесь, на Грани, отец не служил. Здесь вообще никто не служил сорок лет.

Они прошли тридцать ступеней. На тридцать первой Митроха остановился и положил ладонь на стену.

— Ну?

— Ничего. Как в погребке у покойника.

— Тепло есть?

— Есть. — Митроха помолчал. — Только оно не идёт. Стоит. Как вода в кадке, которую никто не черпает и не доливает.

Гордей достал жестяную коробку, раскрыл: на войлоке лежали три огневиковых камешка, ровные, как галька, — мерные. Один он протянул Митрохе.

— Приложи.

Митроха прижал камешек к стене, подержал, потом сунул за пазуху, к телу, и досчитал до сорока. Камешек остался холодным. Митроха вернул его.

— Мёртвая, — сказал Гордей.

— Мёртвая. — Митроха добавил то, за что ему платили отдельно: — Но не пустая.

Гордей занёс это в бумагу. Митроха смотрел, как он пишет: каждая буква отдельно, с нажимом, как человек, который знает, что бумагу будут читать в столице люди, которым на словах не объяснишь. Митроха тоже умел читать, только по-другому: он читал по тому, кто пишет. Этот писал так, будто оставлял самому себе доказательство, что был прав.

Назад шли молча. У выхода Гордей сел на камень, достал краюху, разломил, половину протянул Митрохе. Хлеб был городской, белый, с маком. Клан не экономил на еде, и Митроха уважал в нём это: человек, который кормит хорошо, либо уверен в деле, либо очень боится того, кто сидит рядом.

— Ты был на чаше? — спросил Митроха.

— Три раза.

— И?

— Стоит, гудит, горячая. Сорок лет стоит, и я не понимаю, почему она не рванула раньше.

Митроха дожёвывал молча. Объяснить он мог. Он был вольный тепловей четвёртой ступени и знал про чашу то, что знает всякий, кто хоть раз брал жар в руки: если его некуда девать, он не взрывается. Он ждёт. Ждёт годами, как ждёт вода за плотиной, и рванёт, когда появится дырка, — когда кто-нибудь пустит его туда, где он пойдёт быстрее, чем его успеют принять.

— Чаша держит, — сказал он. — Это не чудо. Из неё просто некуда течь. Ветви спят, вот она и стоит.

Гордей кивнул и записал это тоже. Потом поднял голову и посмотрел прямо, без шури.

— А если ветви разбудить?

Митроха погрел пальцы дыханием.

— Тогда побежит. Кудапустишь, туда и побежит. Принимать надо по обеим сторонам. А принимать некому.

— Сколько человек надо?

Митроха считал честно, не в сторону клана и не в свою пользу. Врать было незачем: врут потом, на бумаге, а здесь холод, камень и его собственная шкура.

— На чаше один, кто направляет. На каждой ветви по одному, кто принимает и отводит. Ветвей от чаши пять круп-

ных и ещё мелкие, которые считают за одну. Человек двадцать пять. Тридцать, если половина в первый раз.

Гордей записал. Потом сказал:

— Тридцати не будет.

— Почему?

— Потому что таких, как ты, в уделе четверо, и двое из них на шахте у княжны.

Митроха кивнул. Всех четверых он знал: дочь рудознатца, что носит журнал отца как икону, двое городских, слабых, из тех, кто лечит подагру купцам, и он сам, пьющий, сорока лет, без роду.

— Значит, не разбудят, — сказал он.

— Значит, не разбудят.

Гордей убрал бумагу в папку, папку сунул за пазуху, под полушубок, поближе к телу, — так носят не деньги, а приговор.

У саней стоял мерин по кличке Ржаной, старый, спокойный. Он не дёргался, опустив голову: уходить от Грани не хотелось никому, даже лошади. Митроха сел на облучок, запахнул полость, сунул руки в рукава. Холод, который он весь день держал снаружи, принялся работать внутри. Не больно, просто сил стало меньше, чем надо, и до ночи их уже не вернуть.

Гордей сел рядом, подобрал вожжи.

— Весной приедут из палаты. Им покажут мёртвую ветвь, мёрзлую «Проточную», промёрзший город. Они спросят,

что делать. И мы им ответим.

— Мы?

— Клан им ответит. — Гордей тронул вожжи. — Закрыть.

Сани пошли. Митроха сидел и думал, что слово выбрано верно. Закрыть не значит забить дыру. Закрыть значит признать: под землёй мёртво, и ходить туда незачем. А если под землёй мёртво, земля сверху никому не нужна, её можно взять за долг и продать потом, когда выяснится, что она всё-таки тёплая.

Злобы он не чувствовал. Двадцать лет работы руками приучили: расчёт есть расчёт. Просто в этом расчёте он был не тем, кто считает, а тем, кого сосчитали, — и от этого хотелось одного: чтобы весной приехал кто-нибудь, кто умеет слушать.

Если умеющий слушать придёт, чаша загудит по-другому и ветви шевельнутся. И тогда Гордею придётся объяснять, откуда он узнал слово «чаша» раньше, чем его произнесли вслух.

Митроха глубже засунул руки в рукава, прикрыл глаза и стал считать вёрсты до стоянки. До ночи было четырнадцать.

Глава 1. Студёная земля

Двадцатого Студня я проснулся от того, что у меня заледел нос.

Это неприятно и полезно. Неприятно — потому что нос отогреваешь минуту и всё это время лежишь с открытым ртом. Полезно — потому что значит, в избе минус, а если в избе минус, то печь, которую Егор затопил в шесть вечера, держала шесть часов вместо одиннадцати. Шесть часов в Студень — это дрова, а не огневик. Огневик держал бы до утра.

Я встал, натянул что было, подошёл к печи и приложил ладонь к камню.

Камень был тёплый. Не горячий, тёплый: как чай, который забыли. Я взял со столика мерный камешек, сунул за пазуху, досчитал до тридцати и вынул. Камешек еле светился — первая ступень из семи, и та на исходе.

— Егор, — позвал я. — Ты сколько заложил?

Из-за занавески донеслось:

— Два, как велели.

— Два чего?

— Два камня. — Он помолчал. — А велели три.

Вот. Три я велел. А Егор заложил два, потому что три камня — это на два дня, а два — на один, и завтра вечером он заложит ещё два, и выйдет, что он честный человек, каждый

день ходит к кладовой и отчитывается. Я объяснял ему это трижды. Он кивал. Он вообще кивает хорошо.

Я заложил третий камень сам, посмотрел, как он занимается — неровно, одним боком, — и подумал, что это уже не в первый раз. Камни стали заниматься неровно с середины Студня. Я списывал на партию: партия пришла из Гончарной в конце Вересеня, и Мирон предупреждал, что гончарнинские нынче сырые. Но гончарнинские сырые горели жарче и быстрее, а эти горели вяло, как сырые дрова в печи у плохого хозяина.

На дворе был тот свет, который бывает в Студень утром: ни серый, ни белый, а как будто кто-то вылил молоко в воду и не размешал. Снег лежал по колено и не скрипел. Снег перестаёт скрипеть, когда мороз за двадцать, и это я знал с первого здешнего дня: скрипит при минус десяти, а при минус двадцати пяти идёшь как по песку.

До шахты было триста сорок шагов. Я их считал, потому что привык считать, и потому что по шагам удобно проверять время: если я иду триста сорок шагов за четыре минуты, значит, тропу нормально расчистили, а если за семь, значит, ночью не вышел дежурный и людей надо ругать не за лень, а за то, что я плохо назначил дежурного.

Дошёл за четыре с небольшим. Значит, расчистили.

У входа курил Радыш — стоял спиной к ветру, сгорбившись, и держал в руке гвоздь вместо трубки: он бросил курить вторую неделю и носил гвоздь, чтобы было чем занять

пальцы. Мне это нравилось. Человек, который нашёл себе замену дурной привычке, будет полезен там, где надо стоять долго и не дёргаться.

— Ну? — спросил я.

— Девятнадцатый горизонт держит, — сказал Радыш. — Двадцатый мокрый. С двадцатого вода идёт.

— Сколько?

— Ведро в час на сто сажений.

Это было много. В Студень вода не должна идти совсем: всё, что течёт по трещинам, к Студню промерзает и стоит. Если с двадцатого идёт вода — я её не лью, я её не отвожу, — значит, двадцатый горизонт тёплый. А он не должен быть тёплым. Мы его закрыли в конце Листопада: заглушили, вывели людей, поставили пометку «сухой».

— Покажи, — сказал я.

Мы спустились.

Спускались мы теперь не так, как в мою первую неделю здесь: на клеть садились через одного, с интервалом, и у каждого на поясе был не только камень, но и бирка с номером. Бирки ввёл Трофим после того дела, и я сначала ворчал, а потом привык: когда на поверхности считают головы, считать их по биркам быстрее.

На девятнадцатом я приложил ладонь к стенке.

Девятнадцатый держал. Грубо говоря, он был как здоровый человек, который проснулся и ещё не встал: теплее воздуха, ровный, спокойный, без толчков. По замерам Зжданы,

за неделю он поднялся на две ступени и стоял. Это было нормально. Это было даже хорошо: в Вересене, когда мы только поставили новую систему отвода, девятнадцатый давал четыре ступени и садился к вечеру.

На двадцатом пахло сыростью.

— Вот, — сказал Радыш и посветил.

Вода шла из стыка, тонкой струёй, и сразу застывала на полу серым натёком. Я потрогал: тёплая. Градусов тридцать, не больше. Вода в тридцать градусов в Студень, в закрытом горизонте, — это как если бы зимой из трубы вдруг пошла парная.

— Давно?

— Третий день. В первый я думал, что кто-то слил.

— Кто?

— Никто не сознался. Я проверил по журналу: слива не было.

Я смотрел на струйку и считал. Ведро в час на сто сажений — это, если перевести на то, что я понимаю, примерно двадцать вёдер в сутки с участка. Двадцать вёдер воды в сутки надо где-то греть. Где-то, где есть тепло, которое эту воду греет.

Я не обязан был удивляться. Вода тёплая — потому что порода тёплая. Порода тёплая — потому что под нами жила. Жила работает, мы её не глушим, мы её ведём: в этом и была вся наша победа осенью, из-за которой я до сих пор хожу с почётным званием и без права уйти.

Только вот незадача: двадцатый горизонт от жилы далёк. Он в стороне, на отшибе, и по старой схеме его греть нечему.

— Далеко идёт? — спросил я.

— До поворота тридцать саженей. Дальше я не ходил, там завал.

— Пошли.

Завал был старый, ещё радковских времён: плита легла поперёк, сверху навалило мелочи, и разбирать его было некому и незачем, потому что за ним, по старым планам, ничего не было. Я посветил в щель. Из щели шло тепло — ровное, без запаха, без гула.

Я снял рукавицу и положил ладонь на камень у щели.

Камень был тёплый. Не так, как у жилы, где тепло идёт толчками, как дыхание. Тёплый ровно, как нагретый кирпич, который вынули из печи час назад и забыли.

— Ну что? — спросил Радыш.

— Иди наверх, — сказал я. — Скажи Егору, пусть поставит к двадцатому вёдра и ведёт журнал: сколько, когда, какая на ощупь. И никого не пускай.

— А ты?

— Я посижу.

Он ушёл, а я сел на камень и положил руки на колени, как меня учила Зждана: не надо хватать тепло, надо дать ему прийти. Она говорила, что это как с лошадьё: если дёрнуть, она дёрнет в ответ.

Тепло приходило ровно.

Оно шло снизу и чуть сбоку. Не от жилы — жила была левее и выше, она работала, я её слышал отдельно, как слышишь два разговора в одной комнате: один ближе, другой дальше. Это шло оттуда, где по нашим планам ничего не было.

Я сидел и думал про то, что вода в закрытом горизонте — это не беда. Беда в другом: если двадцатый греется, а девятнадцатый держит и не растёт, значит, жар идёт мимо нас. Мы его не теряем. Мы его и не получали.

В Вересене я считал, что жила даёт шесть ступеней к зиме. Сейчас она даёт четыре. Я списывал на то, что зимой земля стынет, и это верно: зимой земля стынет. Но четыре вместо шести — это не «стынет». Это «уходит».

Я поднялся наверх час спустя, с мокрыми коленями и с очень ясным знанием, что мне не хочется идти к Косне, потому что Косна скажет ровно то, что я сам думаю, и от этого мне станет хуже.

Так и вышло.

Косна сидел в сторожке на лавке, вытянув больную ногу, и строгал палку — вторую за месяц. Первую он отдал деду Пахому, потому что Пахом ходил с клюкой, а клюка у него была из сырой берёзы и треснула. Палку Косна строгал не для себя. Он строгал её для того, чтобы не сидеть без дела, потому что сидеть без дела он не умел, ходить не мог: бок, который ему проткнули в Листопаде, зажил, но нога не слушалась.

Я положил перед ним мерный камешек и лист с замерами.

— Шестьдесят два дня, — сказал Косна, не поднимая головы. — Ты их ведёшь сам или Зждана?

— Я.

— Я бы не доверял человеку, который ведёт замеры по своей жиле. Ты в неё влюблён.

— Я в неё не влюблён. Я в ней работаю.

— Одно другому не мешает. — Он отложил палку и наконец посмотрел на лист. — Четыре ступени. Было пять и восемь десятых.

— В Вересене.

— В Листопаде было пять и две. В начале Студня — четыре и семь. — Он водил пальцем по строкам, и я видел, что он считает разницу между соседними числами, а не числа: он всегда так делал, и всегда это было правильнее, чем смотреть на числа. — Каждую неделю минус две десятых. Ровно.

— Ровно, — сказал я. — Вот что мне не нравится.

— Что именно?

— Что ровно. Жила так не садится. Жила садится рывками: отдаст, передохнёт, отдаст. А тут как по линейке. По линейке садится то, что выливается в трубу.

Косна положил лист на колено.

— И куда, по-твоему, она выливается?

— На северо-восток.

— Почему на северо-восток?

— Потому что осенью, когда мы ловили линию, она ушла

на северо-восток и там легла. Я тебе тогда говорил. Ты ответил, что это погрешность.

— Я ответил, что погрешность на двух саженьях. — Косна потёр переносицу. — Ты идёшь к холму.

— Я иду к холму.

— И что ты там найдёшь?

— Не знаю. Может, ничего. Может, овраг, в который мы сорок лет сливали тепло и не знали об этом.

Косна молча строгал. Я ждал, что он скажет про осторожность, про то, что я не один, про то, что после Радко у меня есть имя, которое можно потерять. Он ничего этого не сказал. Он сказал другое:

— Ты заметил, что в городе топят дровами?

Заметил. В городе топят дровами: из труб идёт серый дым, а не тот белый пар, который идёт от огневика. В Вересене из каждой пятой трубы шёл пар. Сейчас пар шёл из четырёх труб — княжеский дом, управа, богадельня при храме и дом Зарницких.

— У них кончились камни, — сказал я.

— У них не кончились камни. У них камни есть, а тепла в них нет. — Косна взял палку, примерился и срезал ещё одну стружку. — Мне Егор говорил: он везёт в город партию, и ему говорят — вези дрова, камень не берём, камень нынче холодный. Егор говорит, это потому, что купцы жмутся. А я думаю, купцы не дураки.

— Камни холодные, — повторил я.

— Камни холодные.

Мы помолчали. В сторожке было слышно, как наверху, у ствола, скрипит ворот: Егор спускал бадью.

— Сколько у нас камней? — спросил я.

— На шахте — на семь дней, если по три. Если по два — на десять. Дальше везти.

— Откуда?

— С Гончарной. А Гончарная вон где.

Гончарная была вон где: три перехода, если по зимнику, и всё это время камни везут на санях, и всё это время они стынут, и половина партии приходит мёртвой. Это я знал. Это знали все. Просто до сих пор камни приходили мёртвыми по одной штуке из двадцати, а теперь — по одной из пяти.

— Ты пойми, — сказал Косна. — Я не говорю, что жила садится. Я говорю, что нам надо готовиться к тому, что она сядет. И если ты сейчас пойдёшь на холм и найдёшь там пустоту, ты вернёшься, и нам будет что сказать людям. А если ты пойдёшь и не найдёшь ничего, ты вернёшься, и нам будет нечего сказать.

— Я это понимаю.

— Ты это понимаешь головой. — Он постучал палкой по полу. — А ты пойми животом. У тебя на шее триста человек, которые мерзнут. У тебя Егор, который кладёт два камня вместо трёх, потому что думает, что так экономнее. У тебя дед Пахом, которому ты обещал избу, и он не напоминает, потому что воспитанный, а живёт в развалюхе. Ты им обе-

щал тепло. Ты его обещал не словами, ты им его дал в Листопаде. И если ты сейчас уйдёшь искать, куда оно девается, ты бросишь тех, у кого оно есть.

— Я не уйду надолго.

— Ты уйдёшь на три дня, — сказал Косна. — Я тебя знаю.

Он меня знал. Косна знал меня лучше, чем я сам, и в этом состояла главная несправедливость нашей дружбы: я про него знал только то, что он сам говорил, а он про меня знал всё, потому что наблюдал.

Я вышел из сторожки на мороз и постоял.

Дымили четыре трубы. Я насчитал их, потом пересчитал и насчитал снова: четыре. В Вересене было девятнадцать.

Вечером ко мне пришла Зждана с журналом.

Журнал был толстый, в кожаном переплёте, с обгорелым краем — её отец вёл его двадцать лет, и край обгорел в тот год, когда на «Шестерне» был первый выброс. Она носила его в сумке через плечо, как носят ребёнка: так, что обе руки оставались свободными, а сумка всегда была прижата к боку.

— Я пересчитала по своей сетке, — сказала она, не здороваясь. — У тебя четыре и шесть. У меня четыре и пять.

— Разница в одну десятую.

— Разница в том, что я мерила на восьми точках, а ты на пяти. — Она положила журнал на стол, раскрыла, ткнула пальцем. — Смотри.

Я посмотрел. Восемь точек шли по кругу: две на девятнадцатом, две на двадцатом, четыре на поверхности. Четыре на

поверхности она ввела сама, в Листопаде, и я тогда сказал, что это лишнее, а она сказала, что это главное.

Поверхностные точки падали быстрее подземных.

— Ну? — сказала она.

— Поверхность стынет зимой, — сказал я. — Это я и без журнала знал.

— Поверхность стынет зимой, — согласилась она. — А вот как она стынет. — Она перевернула страницу. — Посмотри на разницу между точками.

Разница была вот в чём: точка у восточной стены падала медленнее всех. Точка у северо-восточного угла ограды падала быстрее всех. Разница — одна ступень на восемьдесят саженей.

— Северо-восток стынет сильнее, — сказала Зждана. — Зимой холоднее всего там, где открыто ветру. Там открыто ветру. Я проверяла.

— И что?

— И то, что если бы земля стыла сама по себе, холоднее всего было бы на ветру. А у нас на ветру холоднее всего и при этом под землёй уходит ровно. — Она закрыла журнал.

— Ты идёшь на холм.

— Косна уже сказал.

— Косна сказал, что ты идёшь. Я говорю, что я иду с тобой.

— У тебя замеры.

— У меня замеры, которые можно делать на ходу. — Она

поправила сумку на плече. — И ещё. Я вечером была в городе. У купца Зайца в лавке камни лежат в коробе, и на коробе написано «Студенец», а раньше писали «Гончарная». Мне Заяц сказал, что гончарнинские нынче не берут, потому что они холодные, а студёнецкие — потому что ближе.

— Студенец — это соседний удел?

— Соседний. — Она помолчала. — И ещё мне Заяц сказал, что Мирон из «Проточной» приезжал в город за дровами. За дровами, Глеб. У него шахта, у него под землёй огневик, и он едет за дровами.

Я посмотрел на журнал, на её руку, лежащую на переплёте, на обгорелый край.

— Когда идём? — спросил я.

— Послезавтра. Надо взять Фрола: он умеет писать бумагу, если нас остановят.

— Фрол спит с бумагой, — сказал я. — Он будет счастлив.

Она улыбнулась — быстро, одним углом рта, — и пошла к двери. У двери остановилась, не оборачиваясь:

— Глеб. Ты не думай, что это ты один придумал. Отец в журнале три раза пишет «северо-восток» и три раза — «не ходил». Он не ходил двадцать лет.

— Почему?

— Не знаю. — Она вышла. — Я про это и хочу узнать.

Я остался один, положил перед собой лист и стал писать цифры.

Четыре и шесть на пяти точках. Четыре и пять на восьми.

Разница между поверхностью и подземкой — одна ступень. Вода на двадцатом — ведро в час. В городе дымят четыре трубы вместо девятнадцати. Мирон из «Проточной» ездит за дровами. Отец Зжданы трижды пишет «северо-восток» и трижды — «не ходил».

Я писал и понимал, что все семь строк складываются в одну, и что эту одну я написать боюсь.

Потому что если она верная, то жила, которую я вытащил из-под Радко, которую учил вести и которой дал имя, — не жила. Она ветка. А дерево стоит под холмом, и под ним сорок лет лежит то, что я должен был найти в первый же месяц.

Я дописал лист, положил карандаш, подошёл к окну.

В окно было видно ограду, а за ней — поле в сизой дымке и, гораздо дальше, тёмный горб на горизонте. Горб был невысокий, но он был, и на нём стояло что-то вроде башни: старая каменная вышка, которую в уделе звали маяком, хотя никакого моря здесь не было и моряки не ходили.

Я смотрел на неё, пока не стемнело.

Потом лёг, укрылся двумя тулупами и долго лежал с открытыми глазами, слушая, как за стеной Егор спорит с кем-то про дрова. Нос мёрз. Я его не отогревал.

Глава 2. След, уходящий вбок

Утром я пошёл к деду Пахому.

Изба его стояла за оградой, на отшибе: три стены из круглого леса, четвёртая подпёрта жердями, крыша поросла мхом так густо, что сверху она казалась зелёной, а не чёрной. Когда-то это была караулка при старом шурфе. Шурф закрыли при Радко, караулку не сломали, и Пахом жил в ней тридцать лет, потому что другой избы у него не было и просить он не умел.

Я обещал ему новую избу в Листопаде, в тот день, когда он вытаскивал меня из забоя. Обещал при людях, громко, и люди слышали. С тех пор прошло два месяца, избы не было, и Пахом ни разу не напомнил. Это было хуже всего: если бы напомнил, я бы рассердился и быстрее бы сделал.

Внутри было холоднее, чем на улице. Пахом сидел на лавке в двух тулупах и плёл верёвку из льна — медленно, потому что пальцы не гнулись.

— Ты бы затопил, — сказал я.

— А я топил. — Он кивнул на печь. — Камень дали?

— Дали.

— Дали один. — Он не жаловался. Он сообщал. — Один камень на сутки, а зимушка нынче... — Он показал рукой на окно, где на стекле изнутри лежал лёд толщиной в палец. — Ты не думай, мне и так ладно. Я к теплу привыкши холод-

ному.

Я сел на чурбак, достал из кармана два камня — своих, из тех, что Егор не донёс, — и положил в печь. Камень занялся плохо: сначала шипел, потом дал тонкий белый пар, и пар пошёл вверх криво, как дым от сырой щепы.

— Видишь? — сказал Пахом.

— Вижу.

— А в Вересене, бывало, камень в печь положишь, он как загудит, и до утра.

— В Вересене, — сказал я, — земля была тёплая.

— Земля тёплая, — охотно согласился он. — А нынче студёная. Ты мне вот что скажи: ты к холму пойдёшь?

Я посмотрел на него.

— Откуда ты знаешь?

— Так ты третий день на северо-восток смотришь. — Пахом подтянул верёвку. — Я человек старый, мне ходить некуда, я на людей гляжу. Ты глядишь так, как мой покойный брат глядел, когда у него корова пропала. Он её потом нашёл у Зайца в сарае.

— И что, у Зайца?

— У Зайца. Только мы доказать не могли, потому что корова пришла сама. — Он помолчал. — Ты спрашивай, я отвечаю. Я про холм знаю мало, а всё, что знаю, скажу.

— Что там?

— Маяк.

— Я видел. А зачем он?

Пахом отложил верёвку и долго молчал, глядя на лёд на стекле.

— Мне дед говорил, — сказал он наконец, — что стояла там сторожа. Когда ещё землю делили, до Радко, до князей, при хранителях. Маяк не для кораблей ставили. Для своих. чтобы человек из города знал, куда идти.

— Куда идти?

— К жиле. — Он пожал плечами. — Или к тому, что вместе жили. Я точно не знаю. Мне дед про это два слова сказал, и оба страшные.

— Какие?

— «Не ходи».

Я посидел ещё немного, посмотрел, как камень даёт кривой пар, и пошёл к воротам.

У ворот меня ждал Косна — стоял, опираясь на новую палку, и смотрел на поле так, будто оно ему должно.

— Ты собрался, — сказал он.

— Я собрался.

— Кто идёт?

— Зждана, Фрол, я.

— И всё?

— И всё.

Косна повернулся ко мне — медленно, потому что поворачиваться ему было больно, — и сказал то, что я ждал с вечера:

— Три человека на три дня в Студень, по чужой земле,

без дороги. Это не разведка. Это... — он подыскивал слово, — это приглашение.

— Кому?

— Всем. Радко сидит, а люди его на свободе. Увар в столице. Клан тебя не простил за то, что ты его барина сдал.

— Клану сейчас не до меня. У клана земля мёрзнет.

— У клана земля мёрзнет, — повторил Косна. — И вот представь: ты уходишь на три дня, а на шахте что-нибудь случается. Что я скажу людям? Что ты пошёл искать, куда девается тепло? Они скажут: а наше где?

— Наше на месте. Четыре ступени.

— Четыре ступени, и через месяц будет три. — Он постучал палкой по мёрзлой земле. — Я не спорю, что идти надо. Я спорю, что идёшь ты.

— А кто?

— Пошли Радыша. Пошли меня. Пошли Зждану с двумя рабочими, она это умеет.

— Зждана идёт со мной, — сказал я. — А Радыш мне нужен на шахте: он один из нас считает воду, не влюбляясь.

— А ты, значит, не влюбляешься?

— Я влюбляюсь. Но я умею это замечать.

Косна махнул палкой и пошёл к сторожке, не оборачиваясь. Я знал, что он сейчас скажет что-нибудь короткое и злое, и он сказал, уже с порога:

— Ты бы ещё один пошёл.

— Умный человек идёт один, — ответил я. — Глупый бе-

рёт с собой тех, кто ему дорог.

Он хмыкнул, и на этом мы помирились. Мирились мы всегда одинаково: он говорил гадость, я отвечал гадостью, и оба понимали, что правы оба.

Фрол ждал у конторы с бумагой.

Бумага была сложена вчетверо, с печатью управы, и Фрол держал её двумя пальцами, как держат живую бабочку за крыло.

— Пропуск, — сказал он. — На четверых, до Грани и обратно, сроком на пять дней. Печать управы, подпись писаря, номер. — Он развернул, показал. — Я вчера к вечеру успел. Писарь Клим спрашивал, зачем нам Грань. Я сказал: обход.

— И он поверил?

— Он не поверил. Он записал. — Фрол сложил бумагу и сунул за пазуху, под рубаху, где теплее. — Ему всё равно, Глеб. Ему главное, что номер стоит и печать мокрая. Если с нами что случится, по номеру найдут бумагу, по бумаге найдут Клим, и Клим скажет: я записал. Всё.

— А если нас не пустят?

— Тогда я покажу бумагу. — Он поправил шапку. — А если не пустят и с бумагой, я сделаю вторую бумагу про то, что нас не пустили. И её тоже занесут в книгу.

Фрол был худой, длинный, с вечной красной полосой на переносице от очков, которые он носил редко, потому что стёкла запотевали. Ему было двадцать четыре. Он любил бумагу так, как другие любят деньги: не за то, что она даёт, а

за то, что она остаётся.

Зждана вышла из конторы с двумя сумками: в одной журнал, в другой — мерные камешки, завернутые в войлок, и медный лоток.

— Ты берёшь лоток? — спросил я.

— Беру.

— Зачем?

— Мыть не буду. — Она кивнула на поле. — Буду слушать.

Лоток — это медный противень с двумя ручками, которым моют камень на промывке. Зждана придумала класть его на снег и ложиться на него ухом: медь собирала звук из земли и отдавала в ухо ровнее, чем голая земля. Я пробовал один раз, мне не понравилось: ухо мёрзнет. Ей нравилось.

— И как, слышно? — спросил я.

— По-разному. На мёрзлой земле слышно плохо. На талой — хорошо. — Она поправила сумку. — Ты не бойся, я не буду спорить с тобой на морозе. Я буду спорить дома.

Мы вышли за ворота в десять утра.

Мороз был такой, что снег под валенком ломался: шёл как по насту, проваливаясь на вершок и держа. Идти было тяжело, но ровно, и я сразу понял, что три дня мы не выдержим. Дело не в силах: ночевать придётся в поле, а ночевать в поле при минус двадцати восьми можно только с огневи́ком, а огневик держит шесть часов.

— Ночевать будем в деревне, — сказала Зждана, когда я

об этом сказал.

— Какая деревня?

— Ключи. Двадцать вёрст отсюда, если напрямую. Там колодец, и вода в нём не мёрзнет.

— Откуда ты знаешь?

— Отец писал. — Она шла легко, и я видел, что она радуется походу так, как радуются люди, которые два месяца сидели в конторе. — Он там ночевал три раза, когда ходил на северо-восток. И всякий раз возвращался.

— А на четвёртый раз?

— На четвёртый он не пошёл.

Я шёл и смотрел под ноги.

Мы шли по азимуту. Компаса у меня не было: в здешнем мире компас работает плохо, потому что стрелку тянет к жиле, и пользоваться им можно только зная поправку, а поправку я знал только на шахте. Поэтому я шёл по солнцу и по ветру: ветер в Студень здесь дует с северо-запада, ровно, сутки за сутками, и если держать его в левое ухо, то идёшь на северо-восток.

Через полчаса я остановился и лёг.

Лежать на снегу в тулупе можно долго: тулуп держит, если не ворочаться. Я лёг на живот, положил подбородок на сложенные руки и прижался ухом к земле — так, как меня научила Зждана в первый месяц: не надо ничего делать, надо перестать делать.

Земля под ухом была мертвой.

Это слово я не люблю, потому что оно ничего не объясняет. Скажу точнее: земля под ухом была как доска. Мёрзлая порода звучит коротко, и звук в ней умирает через полсажени. Летом, на талой земле, я слышал жилу за тридцать саженей: она дышала, и я различал вдох и выдох. Здесь я не слышал ничего дальше своей руки.

— Ну? — спросила Зждана.

— Ничего.

— Иди дальше.

Через час я лёг снова. И снова ничего. Фрол ложился со мной, лежал терпеливо, с закрытыми глазами, и ничего не спрашивал. Он верил, что я слышу то, чего не слышит он, и эта вера была мне неприятна: я знал, что ползи в этом месте ёж, я бы и ежа не услышал.

На четвёртом привале, когда солнце уже начало желтеть, я лёг и услышал.

Сначала я не понял, что это. Звук шёл сбоку, словно кто-то провёл пальцем по краю медной тарелки, стоящей в соседней комнате. Он был ровный, тихий и не прекращался. Я лежал и считал: четыре удара на выдох, четыре на вдох, и между ними не было паузы. Жила так не дышит. Жила берёт паузу. То, что не берёт паузу, — не живёт и не спит, оно просто работает.

— Здесь, — сказал я, садясь.

— Что?

— Не знаю. — Я отряхнул снег с рукава. — Лоток давай.

Зждана разложила войлок, поставила лоток вогнутой стороной вверх и легла на него ухом. Лежала долго, минуты три. Потом села, и лицо у неё было такое, каким бывает лицо у человека, который услышал своё имя в чужом разговоре.

— Сбоку, — сказала она.

— Сбоку, — подтвердил я. — Куда?

Она встала на колени, повернула лоток, легла снова. Потом встала, отряхнула колени, и посмотрела куда-то вбок, мимо меня.

— Вон туда, — сказала она.

Я посмотрел. Там было поле, ровное, белое, и только в одном месте — саженях в сорока от нас — снег лежал впадиной, и во впадине был серый, грязный наст.

— Пошли, — сказал я.

Впадина оказалась старой дорогой.

Дорогу нельзя было разглядеть издалека: она шла ниже уровня поля на полторы четверти, и её занесло ровно, так что сверху она читалась только тем, что снег в ней лежал плотнее и был серее. Ширина — две сажени с небольшим: санный путь, и не один год. По обеим сторонам, если присмотреться, угадывались остатки канавы.

— Дорога, — сказал Фрол.

— Дорога, — сказал я. — Посмотри, куда она идёт.

Она шла на северо-восток. Я встал на неё и посмотрел вперёд: вдали, в сизой дымке, торчал горб холма, а на нём — вышка.

— До холма сколько? — спросил я Зждану.

— Двенадцать вёрст. Может, тринадцать.

Я достал карандаш и записал на листе: «дорога 2 саж, канава, наст серый».

— Кто ездит? — спросил Фрол.

— Никто, — сказала Зждана. — Смотри: наст серый от пыли, а не от навоза. По ней не возят. По ней ходят.

Я присел. Наст был истёрт полосой посередине — тропой, широкой, в половину сажени, и на краях этой тропы снег был утоптан чем-то мягким — валенком, обмоткой, или многократно хоженной тропой, по которой шли не один год.

— Сколько ей лет? — спросил Фрол.

— Канава заросла, — сказал я. — Значит, лет двадцать. Может, тридцать.

— А если тридцать, — тихо сказала Зждана, — то мой отец по ней ходил.

Мы пошли по дороге.

Шли мы недолго, может, полверсты, и я всё время думал об одном: дорога, которая идёт к холму, должна куда-то приходить, и у всякой дороги есть начало. Начало должно быть у нас за спиной — у шахты или у города. И вот этого я не помнил. Я два года ходил от шахты во все стороны на три версты и никакой дороги не видел. Значит, начало было не у шахты. Значит, она шла мимо: откуда-то слева, из-за реки, мимо нас, туда.

На повороте, там, где дорога огибала сугроб, из снега тор-

чал камень.

Камень был серый, в рост человека: грубо обтёсанная плита, поставленная на попа, и летом её, наверное, было видно за версту. Сейчас из снега торчало полторы четверти, и на этой части, с северной стороны, была выбита метка.

Я сгрёб снег рукавицей.

Метка была старая: зарубки глубокие, края обветренные, в углублениях набилась земля. Три вертикальных черты, и над ними — круг, разрезанный пополам.

Я знал этот знак. Я видел его на старых планах в конторе, на дверях хранилища камня и один раз — на пряжке, которую сняли с убитого хранителя в первый мой месяц здесь. В конторе его называли «колодец», и никто не знал, что он значит.

— Что? — спросила Зждана, подходя.

— Знак, — сказал я. — Хранительский.

Она провела рукавицей по камню, не дотрагиваясь до зарубок.

— Отец в журнале рисовал такой, — сказала она. — Пять раз. И ни разу не подписал.

— А рядом?

— Рядом было слово. Я думала, имя. Сейчас посмотрю.

Она сняла сумку, расстегнула, достала журнал, и мы втроём встали так, чтобы закрыть его от ветра. Листы шевелились. Она листала быстро, сбиваясь, и в конце концов нашла: страница была в середине, край заклеен воском, и на ней,

криво, карандашом, была нарисована та же метка — три чер-
ты и разрезанный круг.

А под ней стояло одно слово, крупно, сердито, с нажимом,
от которого карандаш порвал бумагу:

«НЕТ».

Мы стояли молча. Фрол первый нарушил тишину.

— Что «нет»?

— Не знаю, — сказала Зждана.

А я знал. Или думал, что знаю, и от этого мне было холод-
но, хотя мороз был тот же, что час назад.

Отец Зжданы двадцать лет ходил на северо-восток, нашёл
эту дорогу, дошёл до этого камня и написал «нет» — не по-
тому, что там ничего не было. Потому, что там было что-то,
и он решил, что туда нельзя.

— До Ключей сколько? — спросил я.

— Пять вёрст.

— Пошли.

Мы шли по дороге, и снег под ногами был плотный, утоп-
танный, старый, и я считал шаги и думал о том, что человек,
который двадцать лет назад написал «нет», был умнее меня,
и что я всё равно пойду.

Потому что он мог себе позволить не ходить. У него была
жила, которая давала шесть ступеней.

У меня было четыре.

Глава 3. Маяк

В Ключи мы пришли затемно.

Деревня оказалась семью дворами, поставленными в ряд по одну сторону дороги; восьмой двор сгорел и стоял чёрным остовом, занесённый снегом по нижнее бревно. Окна светились в четырёх домах. Свет был желтый, масляный: значит, лампы, а не огневик. В нашем уделе так не светили — у нас лампы жгли только в шахте.

Собаки поднялись из-под завалинок и лаяли без злобы, по обязанности.

Нам открыла женщина лет сорока, в платке, поверх которого была надета мужская безрукавка. Она посмотрела на нас, на наши сани, на Фрола, у которого из-за пазухи торчал угол бумаги, и сказала:

— Заходите. У нас ночуют.

— Мы платим, — сказал я.

— Платите. — Она посторонилась. — Только у нас тепло только у колодца. В избах как везде.

Изнутри изба ничем не отличалась от нашей караулки: печь, лавки, стол, на столе — лампа-плошка, фитиль накручен на лучину, потому что масло берегли. Пахло пареной репой и псиной.

Женщину звали Настасья. Муж её, Кузьма, сидел на печи и слезать не стал: у него, объяснила Настасья, ноги с про-

шлой зимы, и слезает он только по нужде. Кузьма сверху подал голос:

— Вы с шахты?

— С шахты.

— С «Шестерни»?

— С «Шестерни».

— Тогда скажи, — сказал Кузьма, — правда, что у вас камни холодные?

Я посмотрел на Настасью. Настасья месила тесто и не обращивалась.

— Правда, — сказал я.

— И у нас холодные, — сказал Кузьма с печи. — А колодец тёплый. Ты как хочешь, а я думаю, это неправильно. Камень из земли, вода из земли. Если вода тёплая, камень должен быть тёплый. А он холодный.

Я сел на лавку и посмотрел на Настасью.

— Колодец не мёрзнет?

— Никогда, — сказала она, не переставая месить. — Сколько себя помню. Дед мой копал, тот ещё ругался: говорит, рыл-рыл, а попал в баню.

— Глубина?

— Четыре сажени.

— А вода в нём какая?

— Тёплая. Летом студёная, зимой тёплая. — Она вытерла руки о фартук. — У нас за водой зимой ходят с удовольствием. У нас в Ключах зимой бабы у колодца стирают, представ-

ляешь? В трёх губерниях такого нет.

— Вода из-под холма? — спросила Зждана.

Настасья наконец обернулась.

— А ты кто?

— Рудознатица.

Настасья посмотрела на неё долгим взглядом — тем, каким смотрят женщины, когда видят женщину с мужским делом, — и, к моему удивлению, не сказала ничего обидного.

— Из-под холма, — сказала она. — У нас так бают: вода из-под холма идёт. Только холм от нас вёрст пять, и выше нас. Если вода из-под холма, она должна к нам идти вниз. А она идёт вверх. Я, конечно, баба, но я это понимаю.

Я тоже это понимал, и мне стало не по себе: вода, идущая вверх от источника, означает напор. Напор означает, что где-то выше, выше колодца и выше холма, есть ёмкость, из которой вода выжимается. Или что сам холм — крышка над ёмкостью.

— Ты ходил на холм? — спросил я Кузьму.

— Я ходил, — ответил Кузьма. — Лет сто назад. — Он помолчал. — Сорок лет назад, ладно. Нам тогда по восемнадцать было, нам везде надо было. Дошли до вышки, а там дверь. И на двери — замок.

— Замок?

— Замок, висячий, добрый, с дужкой в палец. Мы его не били. У нас тогда сторож был, Ермолай, он нам сказал: не троньте. Мы и не тронули.

— А сейчас замок есть?

— А кто его знает. — Кузьма почесался о стену. — Ермолай помер лет двадцать назад. Сторожи при холме нет давно. Земля ничья: ни княжеская, ни ваша, ни Зарницких. Кому она нужна, пустая.

— Кто-нибудь ходит?

— Ходят, — сказала Настасья. — Редко. Дров там нет, ягод нет, зачем ходить? А ходят. Зимой по дороге санный след бывает, два-три раза за зиму. Я его вижу, когда на речку хожу по льду.

— Чей след?

— Не знаю. — Она накрыла тесто тряпицей и поставила к печи. — Люди ездят. У нас спрашивать не принято.

Мы поели. Еда была простая, хорошая: репа, хлеб с мякиной, квас тёплый, прямо из печи. Фрол ел и молчал, потому что был занят: он достал бумагу, развернул её на колене и смотрел на неё, как смотрят на дорогого человека, с которым расстанутся надолго.

— Что? — спросил я.

— Надо записать, — сказал он. — Что мы ночевали в Ключах, у кого, и что колодец тёплый, и что Кузьма ходил к вышке сорок лет назад. Иначе потом скажут, что мы это придумали.

— Кто скажет?

— Не знаю. — Он аккуратно сложил бумагу. — Всегда найдётся кто-то, кому выгодно, чтобы мы придумали. Я их

видел в управе. Они не злые. Они просто знают: если нет бумаги, нет и дела.

Ночью я не спал.

Лежал на лавке, укрытый тулупом, и смотрел в потолок, где на чёрном потолке дрожало рыжее пятно от лампы. Ждана спала на полу у печи, Фрол за столом, положив голову на руки и подсунув под щёку бумагу.

Колодец был в двух саженях от избы. Я слышал, как он работает: ровно, как вода в трубе под напором, без журчания. Я прикинул: четыре сажени глубины, вода тёплая круглый год, зимой теплее, чем летом. Зимой теплее, чем летом — потому что летом земля отбирает, а зимой вода приходит издалека, и дорога у неё длинная, и дорога эта тёплая.

Потом я перестал прикидывать, потому что прикидывать было рано. Рано прикидывать, когда ты стоишь на крышке и не знаешь, что под ней.

Утром мы вышли в семь, когда светало.

Мороз держался. Настасья вышла провожать и дала нам, не спрашивая, четыре лепёшки и мешочек толокна; Фрол хотел заплатить, она сказала: «Платите за ночлег, за еду не надо, у нас своих ртов меньше, чем рук». Кузьма с печи крикнул: «Скажи там, если камни найдёте!» — и закашлялся.

До холма шли два часа. Дорога вела прямо и, что удивительно, не заносилась: наст был плотный, серый, и по сторонам стоял сугроб до пояса — значит, дорогу чистят. Чистят не лопатой: лопата оставляет вал по краям. Здесь вала не бы-

ло, был ровный укат, как его даёт полоз, ходящий по одному и тому же месту много зим подряд.

— Кто чистит? — спросил Фрол.

— Никто, — сказал я. — Она не заносится.

— Не может не заноситься.

— Может, если под ней тепло.

Фрол посмотрел под ноги так, будто рассчитывал увидеть пар.

Холм начался незаметно: сначала поле стало идти вверх, потом вверх пошло сильнее, потом мы вышли на снег другого цвета — желтоватый, будто под ним земля ближе. Здесь снег лежал тонко, местами проглядывала трава, и на траве не было инея.

— Тепло идёт, — сказала Зждана.

Она шла и через каждые десять шагов наклонялась, касаясь снега рукавицей, — и на последней сотне шагов перестала наклоняться, а просто пошла, глядя вверх.

Вышка стояла на самой вершине.

Она была сложена из плит, грубо, но на совесть: кладка ровная, шов в полпальца, и ни одного выпавшего камня. Высота — сажени четыре, может, пять. Снизу, из сугроба, торчала дверь: две дубовые доски, обитые полосовым железом, и петли, которые я сначала принял за верёвку.

Замка не было. Петли висели пустые, и дужка, перепиленная наполовину, торчала из проушины ржавым языком.

— Перепилили, — сказал Фрол.

— Перепилили, — подтвердил я. — Когда?

Он подошёл, потрогал срез рукавицей, потом снял рукавицу и потрогал пальцем.

— Срез серый. Ржавчина старая, но не чёрная. — Он прищурился. — Года три. Может, четыре.

— А замок сорок лет назад был, — сказала Зждана. — Кузьма видел.

— Значит, — сказал я, — кто-то снял его три-четыре года назад. И с тех пор сюда регулярно ездят на санях.

Фрол достал бумагу и не нашёл, что записать, — и это его так расстроило, что он записал: «замок перепилен, срез серый, ржа стар, примерно 3—4 года, замка нет».

Внутри вышка была пустая.

Я ожидал чего угодно — лестницы, жилья, склада, — а там было пусто: один объём, стены из плит, потолок сводом, и в своде — дыра, аккуратная, круглая, в полтора аршина. Под дырой на полу лежал снег, наметённый горкой, и горка шла из-под земли: её выдувало снизу.

Я посветил в дыру.

Там было черно, и лампа не брала: свет уходил вверх и растворялся. Я бросил в дыру снежок и стал слушать. Снежок летел долго; я досчитал до четырёх и услышал звук — глухой, мягкий, не как о камень.

— Сколько досчитал? — спросила Зждана.

— Четыре.

— Четыре секунды — это саженой двадцать пять, — ска-

зала она. — Плюс-минус. И мягко упало, значит, снег или глина.

— Или вода, — сказал я.

— Или вода.

Я посмотрел на дыру и понял, что она неслучайна: вышка стоит над стволом, и ствол этот не шахтный. Шахтный ствол рубят там, где добыча, и рубят его широким, чтобы шли бадьи. Здесь вышка стоит наверху холма, в самом высоком месте на семь вёрст вокруг, и дыра в её потолке смотрит в шахту, которая уходит вниз не за добычей.

— Смотровой, — сказал я.

— Что?

— Сторожа, — сказал я. — Сторожевой ствол. Стоишь здесь, слушаешь. У тебя над головой — дыра, звук идёт вверх, как в трубе, и ты слышишь всё, что происходит внизу, за версту. Их ставили на самом высоком месте, чтобы слышать две жилы сразу.

— Откуда ты знаешь?

— Дедушка Пахом говорил: сторожа при холме. А про трубу я сам догадался. — Я ещё раз посветил в дыру. — Спускаться надо не здесь. Здесь отвес. Надо искать ход сбоку.

Ход сбоку нашла Зждана.

Он был в сорока шагах от вышки, ниже по склону, и выглядел как провал: снег сел ямой, и в яме чернел прямоугольник. Мы откопали его руками и лопатой, которую взяли у

Настасьи, минут за сорок. Провал оказался входом, заложенным наполовину: сверху лежали три бревна, концы их сгнили, и один край провалился внутрь, открыв лаз.

— Кто-то его открыл, — сказал Фрол, глядя на сгнившие концы. — Или сам сгнил.

— Сам не сгнил бы, — сказала Зждана. — Концы обрублены ровно. Их подрубили.

Я полез первым.

Лаз был узкий, но не тесный: полтора аршина в ширину, аршина два в высоту, и сразу за лазом начинались ступени. Я сосчитал: двадцать. На двадцатой ступенька кончалась, и начинался пол — ровная площадка, утоптанная, с двумя нишами в стенах на уровне груди.

Ниши были пустые. В каждой, по углам, сохранились крючья из толстой проволоки, а на камне над крючьями — копоть треугольником, широким концом вверх.

— Лампы, — сказал я. — Вешали на крючья, и копоть шла вверх. Значит, люди здесь стояли долго и неподвижно. Если бы ходили, копоть была бы размазана.

— Стояли и слушали, — сказала Зждана.

Она стояла рядом, держа лампу двумя руками, и лицо у неё было в тени, и глаза блестели.

— Сколько здесь стоит? — спросил Фрол.

— Тепло, — сказала Зждана вместо ответа.

Она была права. В площадке было тепло, как в сенях у хорошей печи. Я снял рукавицу и положил ладонь на стену.

Стена была тёплая, сухая, и по ней шла ровная вибрация — та самая, без пауз.

— Седьмая, — сказала Зждана.

Она держала мерный камешек двумя пальцами, как держат горячий уголь, не прикасаясь. Камешек светился ровным малиновым светом: ярче всего, что я видел за два года.

— Седьмая? — переспросил я. — Ты уверена?

— Посмотри сам. — Она протянула камешек. — Седьмая из семи. Я такого не видела ни разу.

Седьмая ступень называлась Очаг. Я знал это слово и не знал, что оно значит, потому что в живых не осталось ни одного тепловея, который бы до неё дошёл, а в книгах про неё писали одно: там, где Очаг, человеку делать нечего.

— Это не жила, — сказал я. — Жила так не отдаёт. Жила шесть ступеней, и то в хороший год.

— Это не жила, — согласилась Зждана.

Мы стояли на площадке и слушали. Гул шёл ровно, без толчков, и в нём, если прислушаться, был второй голос: глуше, дальше, и он отставал, как эхо, которое приходит не сразу. Я слушал его долго и понял, что он не отстаёт, он отвечает.

— Глеб, — тихо сказала Зждана. — Я таких гулов слыхала один раз. В Грани, когда мы с отцом выходили к чужой жиле. Отец тогда сказал: это не эхо, это она дышит.

— Кто?

— Другая. — Она посмотрела на меня. — Их две. Или

больше.

Фрол в это время стоял у стены и водил лампой по камню. Он ничего не говорил, и я уже хотел позвать его, когда он позвал сам:

— Тут метки.

Я подошёл.

Метки шли по стене вертикальным рядом, одна под другой, как зарубки на прикладе: короткие насечки, по четыре в группе, и группы отделены косой чертой. Таких групп было девять. Все девять были тёмные, забитые пылью, старые.

А десятая, самая нижняя, была свежая.

Я провёл по ней пальцем. Камень в насечке был светлый, почти белый, с острыми краями, и на дне её лежала каменная крошка, мелкая и сухая — та, что остаётся от удара зубилом и не успевает потемнеть.

— Свежая, — сказал Фрол.

— Свежая, — повторил я.

— Когда?

Я поскрёб крошку ногтем, растер между пальцами. Крошка была сухая, сыпучая, без земли.

— Несколько дней, — сказал я. — Может, неделя. Не больше.

Мы помолчали. Внизу, за стеной, ровно гудело, и этот гул был такой, что хотелось сесть и слушать, а не говорить.

— Значит, — сказал Фрол, — здесь кто-то был.

— Здесь кто-то был, — сказал я. — И он считал.

— Что считал?

— Не знаю.

Назад мы шли молча и быстро, потому что смеркалось, а ночевать второй раз в Ключах нам не хотелось. Настасья была хорошая женщина, Фрол уже записал, что мы там были, и вторая запись выглядела бы как то, чем она была, — как то, что мы испугались идти ночью по дороге.

На полпути Зждана остановилась.

— Ты понял, — сказала она, — что там внизу?

— Понял, — сказал я. — Там полость. И она большая: двадцать пять сажений отвеса, и это только то, что мы слышали. А гул идёт не снизу, он идёт в сторону. Значит, полость не колодец. Она лежит.

— Лежит, — повторила она. — И от неё идут ветви.

— От неё идут ветви.

— И одна из них — наша жила.

Я кивнул. Снег скрипел под валенками, и я считал шаги, как считал всегда, и в счёте этом было утешение: шаги можно сосчитать, а то, что мы нашли, я пока сосчитать не мог.

— Завтра, — сказала Зждана.

— Завтра, — сказал я. — И не втроём.

— А сколько?

Я подумал про Косну, который ходит с палкой и строгаёт её для другого человека. Про Радыша, который бросает гвоздь и берет гвоздь, чтобы не курить. Про Егора, который кладёт два камня вместо трёх. Про Зждану, у которой обго-

реальный журнал и отец, написавший «нет».

— Много, — сказал я. — Пока не знаю сколько. Но много.

Глава 4. Чаша

Косна выслушал меня молча, строгал палку, и когда я кончил, сказал:

— Ты хочешь, чтобы я остался.

— Я хочу, чтобы ты остался.

— Потому что я хромой.

— Потому что ты единственный, кто скажет мне «нет» и не обидится, если я не послушаюсь.

Он дострогал палку до конца, отложил, подул на руки.

— Бери Радыша, Егора и Гришку. Фрола бери: он тебе понадобится вот за чем: считать. И Зждану. Четыре дня. Если на пятый вас нет, я иду сам и падаю там, где упаду.

Гришка был молодой, двадцати лет, из новых: пришёл на шахту в Листопаде, после того дела, когда набирали людей вместо радковских. Он был силён как бык и глуп как бык, и я его любил за то, что он не боялся ничего, чего не понимал. Егор пошёл с неохотой и взял два мешка: в одном верёвки, в другом — еда и лом. Радыш шёл молча и нёс на плече мешок с мерными камешками, как несут дрова, — привычно и без интереса.

Фрол нёс бумагу. Он теперь носил её в жестяной трубке, которую сам согнул из кровельного железа, и трубку эту привязал к поясу, чтобы не замочить.

До холма шли четыре часа. Ночевали в Ключах — запла-

тили, записали, и Настасья, увидев, что нас пятеро, только спросила:

— Вы туда?

— Туда.

— Ну, — сказала она. — Хоть бы не зря.

На склоне, пока Гришка раскапывал лаз шире, я положил на снег план и стал рисовать то, что мы видели в прошлый раз: вышка, дыра в своде, двадцать пять саженей отвеса, боковой ход, площадка с нишами. Потом пририсовал то, чего мы не видели: продолжающийся вниз ствол и полость, которая лежит под холмом и уходит в сторону.

— Отвес двадцать пять саженей, — сказал Радыш. — У нас верёвок на тридцать. Один конец закрепим за бревно у входа. Спускаться по одному.

— По одному, — согласился я. — Первый я. Второй Зжда-на. Потом Егор. Гришка последний, он самый тяжёлый, ему верёвку проверять страшнее всего.

— А я? — спросил Фрол.

— Ты останешься наверху.

Фрол побледнел так, что красная полоса от очков на переносице стала заметнее.

— Глеб, — сказал он тихо. — Я понимаю, что я не работник. Но если я останусь наверху один, я буду сидеть и думать, что вы там все умерли, и у меня не будет бумаги, чтобы записать, что вы там были.

Я посмотрел на него и понял, что он прав и что трусость

тут ни при чём. Хуже: человек видит смысл в том, чтобы остаться свидетелем.

— Останешься у входа, — сказал я. — Не наверху, а у входа, на площадке. Будешь считать время и записывать, кто спустился и кто поднялся. И если через час никого нет — идёшь в Ключи, берёшь Кузьму и идёшь на шахту. Скажешь Косне: «чаша полная». Он поймёт.

— А если Кузьма не пойдёт?

— Кузьма не пойдёт, — сказал я. — Кузьма пошлёт Настасью. Настасья дойдёт.

Фрол кивнул и полез в лаз первым, чтобы развесить лампы по нишам. Это он умел.

Спускались мы час.

Отвес оказался не отвесом: через десять саженей ствол сломался и пошёл уступом, и по этому уступу, если приглядеться, шли старые скобы — железные, толщиной в руку, вбитые в стену через сажень. Скобы были ржавые, но живые: я проверил две, повис на третьей всем весом, и она держала.

— Их чистили, — сказал Радыш снизу.

— Или ими пользовались, — сказал я. — Ржавчина ровная, без раковин. Если бы стояли сорок лет в сырости, были бы раковины.

— Значит, — сказал он, — по ним ходили. Недавно.

Я полез дальше и думал именно об этом: о том, что кто-то спускался здесь в этом году, а не сорок лет назад, и шёл то ли сверху вниз, то ли наоборот, но регулярно, и рука у него

была уверенная, потому что скобы, по которым ходят редко, всегда рвут человека на первом же десятке.

На двадцать четвёртой сажени ствол кончился.

Я ожидал пола, и пол был: ровная площадка из утрамбованной глины, сухая, тёплая, и она уходила в сторону широким проходом — аршина три в высоту и сажени две в ширину, с гладкими стенами. Гладкими от работы, а не от воды: их затирали, и затирали долго.

Я посветил вперёд. Лампа взяла саженей на десять и дальше уперлась в темень, в которой гул стоял так плотно, что его, казалось, можно было потрогать.

— Седьмая, — сказала Зждана, сходя с последней скобы.

Её камешек горел малиновым. Мой — тоже. У Егора камешек погас, и он его сунул за пазуху, не глядя: Егор камешков боялся.

— Здесь нельзя кричать, — сказал я.

— Почему? — спросил Гришка.

— Потому что не знаю.

Мы пошли.

Проход шёл ровно, с небольшим уклоном вниз, и через тридцать шагов я почувствовал, что идти стало труднее. Жарче не стало, труднее стало именно ходить, как по воде. Я остановился, положил ладонь на стену и понял, в чём дело: вибрация. Она шла по воздуху, минуя камень, и грудь отвечала на неё, как отвечает на низкий органнй гул в храме: слышишь плохо, зато чувствуешь зубами.

На сороковом шаге проход кончился.

Я знаю, как описывают такие места. Обычно пишут: «мы вышли в огромный зал». Мы вышли не в зал. Мы вышли в то, что остаётся, когда в породе плавают пузыри: купол, гладкий, без трещин, со следами стёкшего камня на стенах — там, где порода плавилась и застывала волной. Высота купола — сажень восемь. Ширина — я посветил и не достал до края; потом прошёл вдоль стены сорок шагов и не дошёл до поворота.

Пол был ровный, как стол, и шёл к середине, где стояло возвышение: круглая плита сажени три в поперечнике, высотой в пол-аршина, и на плите — чаша.

Чашей это называли потому, что иначе назвать было нельзя. Это был выступ той же породы, что и весь купол, выведенный кольцом, и внутри кольца — углубление, гладкое, оплавленное, чёрное. Углубление было пустое. В нём ничего не лежало, не горело и не светилося. Оно просто было, и от него шёл жар.

Я подошёл, встал на колени у края и поднял руку на четверть над чашей.

Ладонь обожгло через рукавицу.

— Не подходи, — сказал я Зждане.

— Я уже.

Мы стояли и молчали. Первым заговорил Гришка, и сказал он не то, что я ждал:

— А где огонь?

— Какого огня ты ждал? — спросил Радыш.

— Ну, — Гришка пошевелил ломом, — огонь же. Горит что-то. У нас в бане камень горит, и видно.

— Здесь не горит, — сказал я. — Здесь стоит.

— А что стоит?

Я мог бы сказать ему про ступени, про то, что тепло есть работа, и что работа может копиться, как вода. Но Гришка лучше понимал руки, чем слова, поэтому я сказал:

— Представь кадку, в которую сорок лет лили из тысячи вёдер и ни разу не вычерпали. Вода стоит. Ты её не видишь, потому что она в камне. А если прорубишь — пойдёт.

— Куда пойдёт?

— Куда пустим.

Гришка посмотрел на чашу, потом на купол, и лицо у него стало осторожным — тем лицом, которое появляется у сильного и глупого человека, когда он впервые понимает, что сила тут ни при чём.

— А зачем её рубить?

— Чтобы край грелся.

— А край греется?

— Нет.

— Так зачем?

— Потому что она переполнится, — сказала Зждана.

Она стояла у края плиты, держа лоток под мышкой, и смотрела в стену, туда, где купол уходил вниз, за край.

— Смотрите, — сказала она.

Мы подошли.

В стене купола, на высоте груди, были отверстия.

Их было пять. Каждое — в полтора аршина, сводчатое, гладкое внутри, и от каждого в стену уходил ход, и ходы эти шли в разные стороны, веером: два влево, два вправо, один прямо, и прямо — вниз. Внутри было черно, и лампа не брала: жар съедал свет, как съедает его туман.

— Пять, — сказал Радыш. — Пять ветвей.

— Пять ветвей, — повторила Зждана и пошла вдоль стены, считая. — Этот идёт на юго-запад. Этот на запад. Этот... — она прикладывала ладонь к краю каждого отверстия, — этот на юг, этот на юго-восток. А этот, — она остановилась у пятого, самого нижнего, — идёт на северо-восток. На нашу жилу.

— Холодно? — спросил я.

Она помедлила.

— Я не знаю, как сказать. Внутри не холодно. Внутри нет ничего. Как в трубе, по которой давно не шло.

— Выжаты, — сказал я.

— Выжаты, — согласилась она. — Ты посмотри на камень.

Я посмотрел. Камень у кромки отверстия был сухой, пористый, серый, вовсе не такой, как в куполе, и если потереть его пальцем, он крошился. Камень, из которого вытянули всё, что в нём было.

— Их выжали в неё, — сказала Зждана, кивая на чашу.

— Пять ветвей выжали в одну чашу. Пустить не успели.

— Пустили бы, — сказал Радыш, — мы бы грелись.

Мы помолчали. Гул стоял ровный, и в нём, если выждать, а не кидаться слушать, проступал второй голос — глуше, дальше, с другой стороны, и это был ответ, а не эхо.

Я прошёл к середине плиты и сел на корточки у самого края чаши, не поднимая рук.

Чаша была чёрная, гладкая, и в черноте этой, если смотреть долго, начинали различаться пятна: более светлые, вытянутые, как потеки, — следы того, как порода плавилась и стыла. На дне, у ближнего края, я увидел то, чего сперва не заметил: ровный круг, в пол-аршина, чуть темнее остального, и в круге — пять углублений.

Пять. Расставленных так, как расставляют пальцы.

Я снял рукавицу, достал из-за пояса мерный камешек, положил его на край чаши — камешек вспыхнул белым и через два счёта лопнул, рассыпавшись серой пылью, — и потом, очень медленно, положил ладонь на то место, где кончался круг.

Камень под ладонью был сухой и шершавый, и в шершавости этой моя рука легла так точно, как не ложится в перчатку: пять углублений под пять пальцев, и в центре — впадина под ладонь.

Отпечаток.

Не нарисованный, не выбитый зубилом. Вдавленный в камень, который в ту пору был мягким, и потому пальцы вы-

шли глубокие, с ясными подушечками, и большой палец отставлен шире, чем отставил бы я: человек держал чашу, уперевшись, и жал изо всей силы.

— Зждана, — сказал я. — Иди сюда. Смотри.

Она подошла, присела, и долго смотрела, не касаясь.

— Сорок лет, — сказала она наконец. — Сорок лет назад здесь стоял человек и держал это рукой.

— Держал, — сказал я. — А потом его не стало, и держать стало некому.

— А ветви?

— Ветви он выжал, а пустить не успел. — Я смотрел на свою ладонь, лежащую в чужой. — Или успел, но не туда.

— Глеб, — тихо сказал Радыш сзади. — Ты погляди ещё вот что.

Он стоял у пятого, северо-восточного отверстия, и держал лампу у самого края.

— Глянь, — повторил он.

Я подошёл. У края хода, на сером, выжатом камне, шла полоса. Шириной в ладонь, длиной в полторы четверти, и была она тёмной: камень здесь был чистый, без пыли, и блестел, как блестит камень по которому долго водят рукой.

— Трогали, — сказал Радыш.

— Трогали, — сказал я. — И не один раз. Пыль бы легла за сорок лет.

— А за сколько не легла бы?

— За месяц.

Мы стояли у пятого хода и смотрели в темноту, в которой, если очень стараться, можно было различить, как уходит свод: ровно, без обвалов, сажень за саженью, на северо-восток, к нашей жиле.

— Он открыт, — сказала Зждана. — Пятый не заложен. Остальные?

Мы обошли купол. Остальные четыре были заложены: кладка в два кирпича, старая, с трещинами, и трещины забиты глиной, и глина эта была сухая, как мел.

Пятый стоял открытый.

— Значит, — сказал Гришка, — наша ветвь и есть дырка, в которую всё выливается.

Все посмотрели на него. Гришка смутился и замолчал.

— Он прав, — сказал я. — Только не туда, куда ты думаешь. Чаша не выливается в нашу ветвь. Она через неё дышит, как человек через одну ноздрю, когда вторая забита. Оттого у нас жила и не растёт, и не садится: она служит дыркой.

— И если её заткнуть? — спросил Радыш.

Я посмотрел на чашу, на чёрное оплавленное дно, на отпечаток ладони, в который моя рука входила как в чужой след на снегу.

— Если её заткнуть, — сказал я, — чаша перестанет дышать. А чаша полная.

— И что тогда?

— Тогда она пойдёт куда-нибудь. Куда найдёт.

В куполе было тихо, если не считать гула, и гул этот шёл ровно, и я понимал, что мы стоим в середине того, что сорок лет держал человек, который давным-давно умер, и что мы — первые за сорок лет, кто приложил руку к его следу.

— Поднимаемся, — сказал я. — Считать надо наверху, а не здесь. Здесь считать нельзя: здесь считать хочется мало.

Поднимались час двадцать. Фрол сидел на площадке над лазом, завернувшись в тулуп, и записывал что-то при свете лампы, повешенной на крюк. Услышав нас, он поднял лицо, и я увидел, что он молча записал время.

— Сколько нас не было? — спросил я.

— Пять часов одиннадцать минут.

— Запиши ещё, — сказал я. — Чаша. Пять ветвей. Четыре заложены, пятая открыта. На плите отпечаток ладони.

— Чьей ладони?

Я посмотрел на свои руки: они были серые от каменной пыли, и на правой, на подушечках, держался ровный слой, как мел на доске.

— Не знаю, — сказал я. — Но ладонь была меньше моей и шире в кости. И большой палец отставлен так, как отставляют, когда жмут, а не когда гладят.

Фрол записал. Потом поднял голову и спросил то, о чём я сам думал всю дорогу наверх:

— А если там было пять ветвей и пять пальцев?

Я кивнул.

— Значит, — сказал Фрол, — человек один держал пять

ветвей. Или их было пятеро, и отпечаток один, потому что остальные не дотянулись.

— Или, — сказала Зждана, — отпечатков пять. Просто мы смотрели на один.

Мы посмотрели на чашу — нет, чаши здесь не было, был лаз в земле и чёрное небо над холмом, — и молча пошли к саням, потому что возвращаться надо было засветло, а свету оставалось на час.

Глава 5. Что сделали сорок лет назад

С холма мы шли молча и быстро, как уходят от пожара: не потому, что горело, а потому, что хотелось поскорее выйти на воздух, где можно говорить.

На полпути Гришка споткнулся и упал лицом в снег, и пролежал так секунды три, не поднимаясь. Я подошёл, взял его за плечо. Он поднялся, отплёвываясь, и сказал:

— Земля качается.

— Идёт, — сказал я. — У тебя в ушах стоит. У меня тоже.

Это была правда: гул чаши шёл со мной и после выхода, и я дважды на дороге останавливался и проверял, не идёт ли кто сзади, — до того явственно казалось, что позади, шагах в десяти, кто-то большой и тёплый идёт следом.

Косна слушал меня так, как слушают на сходе: не перебивая, глядя в стол, с той вежливостью, которая хуже всякого спора, потому что за ней прячется приговор.

Когда я кончил, он постучал палкой по полу и спросил:

— Сколько тебе лет было сорок лет назад?

— Я тогда не родился.

— Мне было восемь. — Он помолчал. — Я помню, как отец уезжал. У нас в Заречье тогда три дома сгорело, и говорили — земля горит. Я помню, как бабка говорила: «Храни-

тели держат». И ещё я помню, что через месяц она перестала это говорить.

— Что говорить?

— «Хранители держат». Сказала один раз: «Хранители не держат» — и всё. И больше про это ни слова. — Он поднял глаза. — Я сорок лет живу и думал, что это детское. А теперь ты мне говоришь, что они правда держали.

— Я говорю, что держали, — сказал я. — И не отпустили.

— Почему?

— Потому что умерли.

Косна кивнул — медленно, как кивают человеку, которого только что убедили против его воли.

— Ты это докажи, — сказал он. — Мне докажи. Я тебе поверю, потому что я тебя знаю, но я не пойду с этим к людям. Мне нужны цифры. Глаза твои я и так уважаю.

— Цифры будут.

— Когда?

— Сегодня вечером. — Я положил на стол журнал Зжданы, раскрытый на той странице, где был знак с подписью «НЕТ». — Вот откуда я начну.

Зждана листала журнал третьи сутки.

Она сидела в конторе, при двух лампах, и перед ней лежали четыре листа, на которых она выписывала всё, что отец писал про северо-восток, по годам. Я видел эти листы: почерк у неё был мелкий, мужской, с длинными хвостами у букв, и она писала столбиками, как ведут приход.

— Смотри, — сказала она, когда я вошёл. — Я разложила по годам.

Отец Зжданы, рудознатец Лавр, вёл журнал двадцать два года. Первые семь лет он писал густо и нервно: замеры, имена, споры, чертежи, которые не помещались на страницу и выходили на поля. Потом почерк становился ровнее, записи короче. В последний год их было четырнадцать, и все четырнадцать — о погоде.

— Вот, — сказала Зждана и подвинула мне лист.

Северо-восток у отца появлялся трижды, и я уже знал эти три записи, но теперь видел их рядом с другими, и рядом они читались иначе.

Первая: «Ходил на СВ. Дорога старая, укатана. Слышу ровный гул без пауз. Так не дышит ничего живое. Больше не ходил».

Вторая, через четыре года: «Опять на СВ. Слышу то же. Записал: ветви спят».

Третья, ещё через шесть: «Был на камне. Нарисовал знак. НЕТ».

— «Ветви спят», — сказал я. — Он знал про ветви.

— Он знал про ветви, — подтвердила Зждана. — Но он нигде не пишет про чашу. Ни одного слова.

— Почему?

— Потому что он туда не дошёл. Он дошёл до камня и остановился.

— Почему остановился, если знал, что ветви спят?

Она посмотрела на меня так, как смотрят на человека, который задаёт вопрос, ответ на который знает.

— Потому что ему кто-то сказал.

— Кто?

— Я ищу. — Она постучала пальцем по листу. — Смотри, что я нашла вместо этого. Год сорок первый после выброса. Смотри запись: «Был в городе. У купца Рябца видел бумагу: ведомость на выдачу жалования хранителям при чаше. Числится пять человек. Выплачено за месяц вперёд».

Я перечитал дважды.

— Пять человек, — сказал я. — Пять ветвей.

— Пять ветвей. — Она положила ладонь на страницу, как будто грела её. — И смотри, что дальше: «Выплачено за месяц вперёд». За месяц вперёд платят, когда посылают туда, откуда не возвращаются.

— Откуда у Рябца ведомость?

— Рябец держал лавку при управе. Управы той нет сорок лет, бумаги её частью сгорели, частью лежат в подвале у новых. — Она закрыла журнал. — Я туда не хожу, меня туда не пустят. А Фрола пустят.

— Фрол пойдёт, — сказал я. — Фрол в подвале умрёт от счастья и вынесет всё.

Вечером мы сидели вчетвером: я, Зждана, Косна и Радыш. Егор стоял у двери — его позвали как старшего по камню, и он стоял, переминаясь, потому что сидеть при мастерах ему было неловко, а уйти хотелось.

Я взял уголь и нарисовал на столе то, что мы видели: купол, плиту, чашу, пять ходов веером.

— Вот, — сказал я. — Купол оплавлен. Это значит: температура поднималась до плавления породы. Порода плавится, когда жару много и он не уходит. Значит, его собрали сюда и держали.

— Зачем? — спросил Егор от двери.

Я посмотрел на него.

— Чтобы он не ушёл в край, — сказал я. — Представь: сорок лет назад под княжеством идёт выброс. Не на одной шахте, а на всех сразу, потому что ветви — это и есть шахты: наша, «Проточная», остальные. Жар идёт по ним, как по трубам, и выходит там, где люди. Пять ветвей, пять выходов. Если их не перекрыть, край выгорит.

— И они перекрыли?

— Они стянули, — сказал я. — Это другое. Перекрыть — это заткнуть, и тогда жар рванёт там, где заткнули. Стянуть — это собрать в одно место и дать ему стоять. Чаша и есть это место. Они выжали пять ветвей в неё и держали её руками, чтобы она не пошла обратно.

— Руками? — переспросил Косна.

— Руками. — Я показал свою ладонь. — Отпечаток в камне, пять пальцев, большой отставлен. Я приложил руку: отпечаток меньше моей и шире в кости. Камень вдавлен, а не выбит, значит, вдавливали в мягкое: в камень, который ещё не остыл.

— И сколько человек держали? — спросил Радыш.

— Пять человек по ведомости. Пять ветвей по куполу. Пять пальцев по отпечатку. — Я постучал углём по столу. — Но отпечатков может быть пять, по одному на каждый ход. Мы смотрели только один.

— И где они сейчас? — спросил Егор.

Все помолчали.

— Они умерли, — сказала Зждана. — Ведомость за месяц вперёд — это когда знают, что люди не вернутся.

— А если не умерли? — спросил Радыш. — Если они держали, и их сменили? Смена пришла, встала — и так сорок лет. У нас на шахте смена через смену.

— Тогда бы край грелся, — сказал Косна.

Он сказал это первым, раньше меня, и я посмотрел на него с благодарностью, которую он не заметил.

— Именно, — сказал я. — Если бы смена приходила, ветви были бы живые. А они выжатые: камень сухой, крошится, внутри ничего. И край мёрзнет, и шахты мёрзнут, и в городе топят дровами. Значит, смены не было. Значит, пять человек держали, сколько смогли, и сгорели, и чаша осталась стоять полная.

— Стоять, — повторил Косна. — А почему она не рванула?

— Потому что ей некуда. — Я обвёл углём купол. — Чаша целая. Пять ходов, четыре заложены. Пятый открыт: он идёт на северо-восток, на нашу жилу. Через него она дышит.

Очень мало, как человек через соломинку, но дышит. И поэтому сорок лет стоит.

— А если его заткнуть? — спросил Егор.

— Тогда она найдёт другое место. Купол треснет, или пойдёт вверх, или в воду. Мы не знаем где. И я не хочу узнавать.

В конторе было тихо. Лампа шипела. Егор всё стоял у двери, и я видел, что он считает что-то на пальцах.

— Ты считаешь? — спросил я.

— Считаю, — виновато сказал он. — Пять человек, сорок лет. У нас на шахте триста душ. Выходит, на каждого... — он сбился, — ...не выходит ничего. Я думал, может, они по очереди.

— Они не по очереди, Егор, — сказал Косна мягко. — Они все сразу.

Егор посмотрел на свои руки — большие, в трещинах, чёрные от угля, — и спрятал их за спину.

— Иди, Егор, — сказал я. — И выпишь. Завтра с утра два камня в печь Пахому, и три себе, и чтобы я проверил.

— Три, — повторил он и пошёл, и у двери обернулся: — А ты их видел?

— Кого?

— Хранителей.

— Нет, — сказал я. — Руку видел.

Он кивнул и вышел, и я слышал, как он на крыльце долго и старательно вытирает валенки, — всегда он вытирал их недолго, а тут вытирал, как будто боялся войти обратно.

— Всё, — сказал Косна. — Ты меня убедил. Теперь второе: что с этим делать.

Я провёл углём от чаши к пятому ходу.

— Пустить обратно. Пять ветвей, по ветви на шахту. Если пустить ровно — край будет греться, как грелся до выброса. Если пустить криво — будет то же, что сорок лет назад.

— Сколько человек надо?

— Не знаю. Считать буду. Но больше пяти: пять держат, а принимать надо по обеим сторонам, в конце каждой ветви. И там, в конце, люди должны ждать.

— Где ждать? — спросил Радыш. — Ветвь идёт под землёй отсюда до шахты. Где её конец?

— Не знаю, — сказал я. — Надо идти по ней и смотреть.

— Ты понимаешь, — сказал Косна, — что ты сейчас сказал? Ты сказал: надо спуститься в чашу, открыть четыре хода, которые заложены сорок лет назад, и пустить жар под землёй на десятки вёрст, по трубам, которые никто не чистил сорок лет. И что на другом конце должен стоять человек и ждать.

— Понимаю.

— И ты понимаешь, что для этого тебе нужны не мы. Тебе нужны те, у кого другие концы ветвей.

Вот тут я и замолчал, потому что Косна сказал то, до чего я сам не дошёл, — и промолчал я оттого, что идти туда было страшно.

Ветви шли не только под нашей землёй. Пять ходов ве-

ером: юго-запад, запад, юг, юго-восток, северо-восток. Северо-восток — наша. Остальные четыре уходили под чужие уделы, под чужие шахты, под чужих людей, с которыми мы просто не знали друг друга.

— «Проточная», — сказал я.

— «Проточная», — подтвердил Косна. — И Гончарная. И Студенец. И Заречье, если считать по старой меже.

— Мирон, — сказал я.

— Мирон, — повторил Косна. — Съезди к нему. У него шахта мёрзнет двадцать лет, а не сорок.

Я посмотрел на него.

— Откуда двадцать?

— А ты не слышал? — Он постучал палкой. — У нас в уделе все знают: «Проточная» мёрзнет двадцать лет. Двадцать лет назад она ещё давала камень на продажу, а потом перестала. А мы мёрзнем сорок.

— И что это значит?

— А ты подумай, — сказал Косна. — Если все ветви высосали сорок лет назад, все шахты должны были встать сразу. А они встали вразнобой.

Я подумал.

Косна был прав, и правда его была из тех, которые сначала кажутся мелочью, а потом переворачивают весь расчёт. Если все пять ветвей выжали в сороковом году, то край должен был замёрзнуть весь и сразу. А он мёрз по частям: «Проточная» двадцать лет, мы сорок, Гончарная — по словам Зайца

— только в этом году.

Значит, ветви выжимались не одновременно. Значит, кто-то продолжал стягивать жар в чашу и после того, как пять человек умерли.

Или, сказал я себе, кто-то стягивал его в другую сторону.

— Еду к Мирону, — сказал я. — Завтра.

— Возьми Фрола, — сказала Зждана. — Ему в подвал к бумагам всё равно надо.

— Возьму.

— И меня, — сказал Радыш.

Я посмотрел на него, на его гвоздь, который он вертел в пальцах, и покачал головой.

— Тебе надо на двадцатый горизонт. Вода идёт четвёртые сутки, и я не знаю, прибавилось или убывло. Если прибавилось — мне надо знать сегодня.

— А если убывло?

— Тогда тоже.

Ночью я не спал и рисовал.

Рисовал я на обороте старой ведомости, потому что бумаги у нас было мало, и Фрол за это меня бы убил, если бы знал. Получилась звезда: пять лучей от круга. Против каждого луча я написал, что знаю: «северо-восток — наша, открыта, дышит»; «юго-восток — ?, заложена»; «юг — ?, заложена»; «юго-запад — ?, заложена»; «запад — ?, заложена».

Потом я приписал под каждым: «кто на конце?»

Потом ещё ниже: «сколько держит один человек?»

На этот вопрос я ответа не знал. Я знал только одно: тот, кто оставил отпечаток, держал один, и держал, сколько хватило сил, и сил хватило ненадолго.

Я и сам знаю эту цену. Осенью, когда мы в первый раз вели жилу по новой системе, я держал камень два часа и после этого три дня не мог застегнуть пуговицу: пальцы работали, кисть не слушалась, и Радыш мне завязывал пояс. Два часа. А им надо было держать всегда.

Потом я посчитал. Считал я на обороте листа, мелко, чтобы самому стыдно было: если человек держит два часа, и смена идет через каждые два часа, то на одни сутки нужно двенадцать человек, а на год — двенадцать человек, помноженных на триста шестьдесят пять дней, и это если каждый работает один раз в сутки, а человеку после двух часов надо спать и есть, и из двенадцати двое всегда болеют. Выходило тысяч двадцать человеко-часов на год. На сорок лет — восемьсот тысяч.

Я посмотрел на это число и понял две вещи.

Первая: сорок лет назад край этого сделать не мог. Люди были, но восемьсот тысяч человеко-часов нельзя скрыть: их видно по еде, по жалованию, по ведомостям, по тому, сколько муки привозят в удел. У нас на шахте триста душ, и их кормят тридцать подвод в месяц. Восемьсот тысяч часов на пяти человека — это полторы тысячи подвод муки, которых никто не возил.

Вторая: значит, они не собирались держать сорок лет. Они

собирались подержать, пока не кончится выброс, и потом пустить жар обратно по ветвям. День, неделю, месяц — я не знаю, сколько длится выброс. Но они собирались его пересидеть.

А пересидеть не вышло.

Потому что если бы вышло, мы бы сейчас не мёрзли.

Глава 6. Сосед

На «Проточную» мы выехали в семь утра, пока держал наст.

Дорога шла зимником по реке, и это была единственная хорошая дорога в уделе: лёд ровный, без торосов, по краям вешки, и вешки эти кто-то ставил и поправлял, потому что стояли они ровно, через сорок саженей, и верх у каждой был затёсан свежим топором.

— Кто ставит? — спросил я Фрола.

— Уезд, — сказал он. — По зимнику каждый год. У них наряды: столько-то вёрст, столько-то вешек, подьячему копейка с версты.

— А если не поставят?

— Тогда ставят мужики с ближней деревни, потому что иначе весной утонет кто-нибудь из них. — Фрол подумал. — Или осенью не довезут хлеб, что хуже.

Фрол ехал, завернувшись в тулуп с головой, и из тулупа торчала только жестяная трубка с бумагой, которую он держал двумя руками, как ребёнка. Я правил. Лошадь была наша, старая, смирная, по кличке Ржаной, — та самая, на которой Митроха Кудлатый уезжал от Грани; я тогда этого не знал, а когда узнал, было поздно, и я только посмотрел на неё с неприязнью, на которую она не обратила внимания.

До «Проточной» было тридцать две версты. Я ехал и смотрел

рел по сторонам, и то, что я видел, было мне нужно больше, чем любые журналы.

Заречье проехали часов в десять. Село стояло на высоком берегу, сотни полторы дворов, и дым шёл из труб ровно, густо, серый. Я насчитал дымящих труб тридцать одну, потом сбился и пересчитывать не стал.

— Дровами топят, — сказал Фрол, высунувшись.

— Дровами.

— У них лес рядом. Им всё равно.

— Им не всё равно, — сказал я. — Им тридцать вёрст на саях за камнем или пять за дровами. Они считают.

Дальше пошла Гончарная слобода: тут стояли сараи, где обжигали камень, и сараи молчали. Две трубы из десяти дымили, и дым был редкий, как от сырой соломы.

— Закрылись, — сказал Фрол.

— Совсем?

— Не знаю. — Он поёрзал. — Тут зимой всегда тихо.

И только в Заречье, в лавке, где мы остановились погреться, я услышал то, что мне было нужно.

Лавка была маленькая, с бочкой кваса и полкой, на которой лежало три вида товара: соль, мыло и верёвка. Хозяин, старик с одним глазом, сидел на лавке и не встал, когда мы вошли.

— Вы откуда? — спросил он.

— С «Шестерни».

— Это где?

— За холмом.

Старик покивал.

— Там, говорят, тепло было.

— Было, — сказал я. — А у вас?

— А у нас двадцать лет как. — Он сплюнул на пол, не стесняясь. — У нас раньше камень в город возили. Возили-возили, а потом перестали. Теперь к нам возят.

— Кто возит?

— Клан возит. Землю у нас купил, да не всю, часть. Говорил, сад будет. Сада нет восемнадцать лет, а земля лежит.

Я поставил кружку.

— Клан?

— Зарницкие. — Старик посмотрел на меня здоровым глазом. — А ты, я гляжу, человек нездешний. Ты бы не лез. У них земля купленная, с бумагой, а с бумагой у нас один разговор: поди докажи.

— А что доказывать?

— Да ничего. — Он отвернулся. — Я так, к слову.

«Проточная» открылась из-за поворота сразу: ствол, копёр, три барака, контора, и всё это чёрное на белом, как уголь на снегу. Копёр не дымил.

Нас встретил сторож — старик в валенках, подшитых верёвкой, — и повёл к конторе, не спрашивая, кто мы; значит, ждали, значит, Мирон знал, что я еду, и это меня удивило ровно настолько, насколько вообще можно удивиться тому, что весть о поездке дошла раньше саней.

Мирон сидел в конторе один.

Он был крупный, широкий, с лицом, которое сразу казалось сердитым, а потом оказывалось усталым; ему было под пятьдесят, и он двадцать лет рулил шахтой, которая мёрзла. Он встал, когда я вошёл, и это было невежливостью: хозяин не встаёт перед гостем, если гость не князь. Но он встал.

— Глеб, — сказал он. — Рад.

— Здравствуй, Мирон.

— Я рад, — повторил он, садясь, — потому что ты единственный человек в уделе, у которого шахта греется хуже моей. Мне от этого легче.

— У меня греется лучше твоей, — сказал я.

Он посмотрел на меня долгим взглядом и ничего не ответил. Потом достал из ящика стола лист, разгладил его ладонью, и положил перед собой.

— Сколько у тебя?

— Четыре и шесть.

— А было?

— Шесть.

— Когда?

— В Вересене.

Мирон кивнул и показал на лист. Там шли столбики цифр: двадцать лет, по месяцам.

— У меня было пять и восемь. Двадцать лет назад. Сейчас ноль целых четыре десятых. — Он постучал пальцем по самой верхней строке. — Падение было не постепенное. Вот

смотри.

Я посмотрел.

Строка шла ровно: пять и восемь, пять и семь, пять и семь, пять и шесть. А дальше, на шестнадцатом месяце, стояло: три и одна.

— Прыжок, — сказал я.

— Прыжок, — подтвердил Мирон. — За месяц минус две и пять. А до того за год минус две десятых. — Он подвинул лист. — И больше она не поднималась. Двадцать лет стоит на четырёх десятых и не шевелится.

— Что в том месяце было?

— В том месяце? — Мирон подумал. — В том месяце у нас был человек из столицы.

Я поднял голову.

— Какой человек?

— Не из столицы. Из управы, по бумаге. Приехал, посмотрел, велел закрыть два горизонта и уехал. Мы закрыли. Жар упал и не вернулся.

— Кто он?

— Я тогда молодым был, мне двадцать восемь было. — Он потёр лицо. — Фамилию помню, потому что смешная: Вершин. Сысой Вершин.

Фрол, который до того молчал, вынул из-за пазухи трубку, раскрыл, достал бумагу и карандаш, и аккуратно написал: «Сысой Вершин, управа, 20 лет назад, закрыл 2 горизонта на «Проточной»».

Мирон посмотрел на него с уважением.

— Ты пиши, — сказал он. — Пиши, это правильно.

— А землю у вас клан купил в том же году? — спросил я.

Мирон помолчал.

— В том же, — сказал он. — Весной того же года. Двести десятин, под сад.

— Сад?

— Сада нет, — сказал Мирон. — Двести десятин лежат. Я туда охотиться хожу, там зайцы.

Мы сидели в конторе, и в конторе было холодно, и Мирон не предлагал раздеться, потому что раздеваться было незачем: тулупы мы не снимали. На столе стояла лампа, горела тускло, и я понял, что масло в ней конопляное, вонючее, из того, что жгут, когда другого нет.

— Покажи шахту, — сказал я.

— Пойдём.

Мы спустились.

«Проточная» была устроена так же, как наша, только хуже: те же горизонты, те же крепи, те же лестницы, и всё это было сухое, чистое и мёртвое. Мирон держал шахту в порядке, как держат дом, в котором никто не живёт: подметено, подшито, вычищено, и ни души.

На восьмом горизонте он остановился и показал на стену.

— Вот, — сказал он. — Здесь у нас было тепло. Вот здесь, видишь, камень другой?

Я приложил ладонь. Камень был холодный, сухой, шер-

шавый.

— Выжат, — сказал я.

— Что?

— Выжат, — повторил я. — Такой же, как в нашей ветви. Из камня вынули всё, что в нём было. Он теперь как сахар, который вымочили.

Мирон положил свою ладонь рядом с моей и подержал.

— Ты знаешь, — сказал он, — я двадцать лет думал, что это я виноват. Закрыв горизонты не так, надо было иначе, я что-то не расслышал. У меня отец здесь же работал, и дед. И вот двадцать лет я думал: мастер я плохой.

— Ты не плохой мастер, — сказал я.

— А какой?

— Такой же, как я. — Я снял ладонь со стены. — У тебя не шахта мёрзнет. У тебя ветвь выжата.

И я рассказал ему. Про купол под холмом, про чашу, про пять ходов веером, про отпечаток ладони, про пятерых хранителей, которые держали и не отпустили, про то, что край мёрзнет не весь сразу, а по частям.

Мирон слушал, не перебивая, и когда я дошёл до того, что ветви выжимались вразнобой, он остановил меня:

— погоди. Ты говоришь, все пять выжали сорок лет назад?

— Я думал, что так.

— А у меня двадцать.

— Двадцать.

— Значит, — сказал Мирон, — их выжимали по одной. Сорок лет назад — одну. Двадцать — другую. И так далее.

— Выходит, что так.

— И кто выжимал?

Я не ответил, потому что ответ был, и он был такой, что говорить его вслух в чужой шахте не хотелось.

Кто-то знал про чашу. Кто-то знал, что жар из ветвей уходит в неё, и помогал этому уходить: закрывал горизонты, ставил заглушки, гасил шахты — и делал это по одной, с разницей в годы, и всякий раз приезжал человек с бумагой, и всякий раз землю у хозяина покупал клан.

— погоди, — сказал Мирон. — А если наоборот?

— Что наоборот?

— А если он не выжимал? — Он постучал по стене. — А если он закрывал, чтобы жар не шёл обратно?

Я посмотрел на него.

— Обратно, — повторил я.

— Ну. Ты сам сказал: чаша полная. Если ветвь открыта, жар пойдёт в ветвь. А если он не хочет, чтобы жар шёл в ветвь, он ветвь закрывает. И тогда жар остаётся в чаше. И чаша... — он искал слово, — ...набухает.

Набухает.

Я прислонился спиной к стене и закрыл глаза. В шахте было тихо, и тишина эта была мёртвая, и мне вдруг стало ясно то, что я должен был понять ещё на куполе, когда считал пальцы в отпечатке: большой палец отставлен так, как

отставляют, когда жмут, а не когда гладят.

Человек на плите не держал жар. Он его не пускал.

— Мирон, — сказал я. — Сколько у тебя людей?

— Сто сорок. Было двести.

— Сколько из них знают шахту?

— Человек сорок. Остальные только зиму перебиваются.

— И сколько ты дашь мне, если я попрошу?

Он посмотрел на меня и не спросил «зачем». Он спросил другое:

— Когда?

— Не знаю. Может, никогда.

— А если не никогда?

— Тогда пятерых. Которые не испугаются.

Мирон помолчал, глядя на свою ладонь на холодном камне.

— Дам, — сказал он. — У меня Овсей есть, он трёх ступеней, и он не из трусливых, он из вредных. Вредный полезнее храброго: храбрый полезет и сгорит, а вредный полезет и будет ругаться, и вылезет.

— Годится, — сказал я. — Мне нужен вредный.

Мы поднялись наверх. На дворе Мирон показал мне то, что показывают неохотно: сарай, в котором лежали мерные камешки, и камешки эти лежали в коробе навалом, штук двести, и ни один не светился.

— У нас их не берут, — сказал он. — В городе не берут. Говорят, холодные.

— А ты пробовал?

— Пробовал. — Он взял один, погрел в ладони, сунул за пазуху, подождал и вынул. Камешек остался серым. — Холодный. А я его в печь клал на ночь, в самый жар. Всё равно холодный.

— Он не портится, — сказал я. — Он просто нечем зарядить. Ему тепло нужно, чтобы отдать.

— Откуда?

— Из земли.

Мирон сунул камешек обратно в короб, и короб захлопнул, и я услышал, как двести камней стукнулись друг о друга — сухо, как кости.

— Знаешь, что самое обидное, — сказал он. — Я двадцать лет думал, что я плохой мастер. А оказалось, что я сирота. У меня отец здесь сорок лет работал и ничего не сказал, и дед работал и ничего не сказал. И я им не могу даже предьявить, потому что они не знали. Они просто рубили камень и мёрзли.

— Они знали, — сказал я. — Они не знали, что сказать.

— Одно и то же.

— Нет. — Я посмотрел на него. — Разница есть. Если они знали и молчали — это одно. А если знали и не умели сказать — это другое, и это мы можем исправить.

— Кто мы?

— Ты и я. И ещё человек двести, если повезёт.

Назад мы ехали молча до самого Заречья. У лавки с одним

глазом Фрол попросил остановиться и пошёл за квасом, а я сидел в санях и смотрел на дым из тридцати одной трубы, и думал про то, что двести десятин под сад — это не про сад.

Двести десятин под сад — это про то, что кто-то очень точно знает, где будет тепло, и покупает там, где тепла нет, и ждёт, когда оно там появится.

Или когда его там не будет.

Фрол вернулся с квасом, сел, вытер усы и сказал:

— Глеб.

— Что?

— Я тут подумал. — Он держал кружку двумя руками. — Если клан покупал землю у тех, у кого погасло, то им выгодно, чтобы у всех погасло. А если ты сейчас пойдёшь и всем расскажешь, что погасло не потому, что кончилось, а потому, что кто-то закрыл, — то клану станет очень неинтересно.

— Станет.

— И тогда, — сказал Фрол, — они поедут в столицу. Или напишут. И столица пришлёт комиссию.

— Пришлёт.

— А комиссия спросит: а что, собственно, вы хотите? Закрыть или разбудить?

Я посмотрел на него.

— Ты это придумал сейчас?

— Я это придумал в лавке, — сказал он. — Пока квас пил. У меня в трубке записано.

Он похлопал себя по груди, где под тулупом лежала же-

стояная трубка, и тронул вожжи, и сани пошли, и я сидел и думал, что Фрол прав и что он прав страшно: мы сами, своими руками, тащим на край комиссию, у которой в инструкции будет написано ровно то, что выгодно клану.

А другого пути не было.

Потому что чтобы пустить жар по пяти ветвям, мне нужны были не сто сорок человек Мирона и не триста моих. Мне нужны были все шахты княжества, и бумага, подписанная княжной, и люди, которые выйдут на чужую землю и встанут у чужого конца ветви.

А бумагу подписывала Таисия.

Глава 7. Бумага из столицы

Княжна приехала на другой день после нашего возвращения, в одиннадцатом часу утра, в санях, которые я узнал издали по двум фонарям.

Фонари она возила постоянно, даже днём, и я сначала думал, что это глупость, а потом понял: фонари означают, что в санях едет человек, которого нельзя задерживать на заставе. У княжны не было ни денег, ни войска, ни города, — у неё были долг, имя и два фонаря.

Я увидел сани с крыльца, когда они были ещё на тракте, и узнал их по тому, как они шли: не качались. Сани качаются, когда в них сидит человек, который едет с вещами; пустые сани скачут; а эти шли ровно, как идут сани с одним седоком и с бумагами на коленях.

Утро было серое, без ветра, и дым из труб стоял столбом. Я насчитал четыре столба: княжеский дом, управа, богадельня, Зарницкие. Четыре столба на весь город, и все четыре — над теми, у кого есть деньги на камень. У остальных дым стлался по земле, как туман.

Я знал, зачем она едет, потому что она предупредила накануне, и всё утро ждал её, и от этого ожидания работа не шла: я дважды переписал один и тот же замер и оба раза получил разное, что со мной случается только тогда, когда я думаю не о том, о чём надо.

Косна сказал мне про это просто:

— Ты иди погуляй.

— Мне надо считать.

— Ты считаешь уже третий час и всё считаешь одно. Иди погуляй, я скажу, когда приедут.

Я вышел на крыльцо и стоял, и смотрел, как сани идут по тракту, и думал о том, что в прошлом году, в это же время, я стоял на этом же крыльце и ждал решения: уезжать мне или оставаться. Тогда у меня было одно желание — домой. Сейчас у меня было это же желание, только лежало оно глубже, под другими делами, как лежит под новой кладкой старый камень: дом на нём стоит, хоть его и не видно.

Она вышла сама, не дожидаясь, пока кучер откинет полость, и пошла к конторе, не оглядываясь: знала, что я выйду.

— Здравствуй, Глеб, — сказала она, снимая перчатку. — У тебя в конторе холодно или как везде?

— Как везде.

— Тогда не снимай. — Она села на лавку, не дожидаясь приглашения, и положила на стол папку. — Я привезла тебе две вещи. Одна приятная и короткая, вторая длинная и скверная. С какой начать?

— Со скверной, — сказал я. — Приятная испортится.

Она посмотрела на меня с тем выражением, которое я у неё видел часто и которое всегда значило одно: она рада, что может говорить со мной прямо, и сердится, что рада.

— Из столицы пришла ведомость, — сказала Таисия. — Межевая палата назначает комиссию по нашему уделу. Комиссия едет весной, в Капельнике, и ей велено решить вопрос о земле, которая «не приносит дохода и содержит в себе опасность подземного жара».

— Весной, — сказал я. — Это пять месяцев.

— Четыре с половиной. — Она постучала пальцем по папке. — Срок даётся на сбор сведений. Нам велено подготовить: опись шахт, ведомость добычи за десять лет, ведомость пожаров, ведомость несчастных случаев, опись земель, которые «по причине жара оставлены». И отдельно — мнение удела: что с этим делать.

— Какое мнение?

Она подняла глаза.

— Вот именно.

Я сел напротив. В конторе были мы двое, и лампа, и папка на столе, и я смотрел на папку, как смотрят на топор, который только что положили между людьми.

— И какие варианты? — спросил я.

— Два. — Она загибала пальцы. — Первый: признать подземный жар исчерпанным, шахты закрыть, людей переселить, земли передать в казну с выплатой пособия. Второй: признать жар действующим, составить план разработки, выдать под него ссуду и надзор.

— Выкуп?

— Выкуп по оценке, — сказала она. — Оценку делает ко-

миссия на месте.

— И кто платит?

— Казна. — Она помолчала. — Казна платит казне. Земли у нас в залоге у казны по отцову долгу, Глеб. Ты помнишь?

— Помню.

— Если земли признают пустыми, казна берёт их в счёт долга, и я остаюсь ни с чем, но и без долга. Если земли признают действующими, казна оставляет их за мной и даёт ссуду под надзор. Ссуда — это проценты, а проценты — это то, чем я буду платить следующие двадцать лет.

— Значит, тебе выгодно второе.

— Мне выгодно второе. — Она убрала палец со стола. — Но ты не торопись радоваться. Второму варианту нужен план разработки, а план разработки подписывает палата, а палата его не подпишет, если комиссия напишет «опасно». А «опасно» она напишет всегда, потому что «опасно» — это единственное слово, за которое с неё не спросят. Если комиссия напишет «безопасно» и что-нибудь рванёт, спросят с комиссии. А если она напишет «опасно» и ничего не рванёт, спросят с меня: почему не работала.

— И сколько таких комиссий ты видела?

— Я видела одну, — сказала Таисия. — В соседнем уделе, восемь лет назад. Там было триста душ и две шахты. Комиссия приехала, посмотрела, написала «опасно», шахты закрыли, людей переселили в три приёма. Земли отошли казне, а через год их купил частный человек. — Она помолчала. —

Угадай, кто.

— Зарницкие.

— Зарницкие. — Она достала из папки лист и положила передо мной. — Вот. Купчая восьмилетней давности. Двести сорок десятин, цена за десятину — семь рублей двадцать копеек. А через три года они же продали сорок десятин под дачи по сорок рублей.

Я посмотрел на лист. Бумага была настоящая, с гербовой печатью, и я знал, что Таисия достала её не из своего архива: у неё архива не было, архив сгорел при отце. Значит, она достала её в столице, у людей, которым это стоило денег.

Я долго смотрел на купчую.

Бумага была тонкая, почти прозрачная, и на просвет в ней был виден водяной знак: двуглавая птица и по кругу слова, которых я разобрать не мог. Подписи шли три, и одна, самая нижняя, была сделана с таким размахом, что занимала полстроки, — подпись человека, который подписывает много и быстро и никого не боится.

Я подумал, что бумага эта про меня и про то, что будет весной: потому что я сейчас делаю ровно то, что делает всякий, кто находит под землёй что-то живое, — я готовлю кому-то купчую. Или спасаю её. И разница между этими двумя вещами вся в том, успею ли я к Капельнику.

— Откуда это у тебя?

— У одной вдовы, — сказала она. — Её муж был подьячим в той комиссии, он умер в позапрошлом году, а она про-

даёт бумаги, потому что ей есть нечего. — Она убрала лист обратно. — Ты не представляешь, Глеб, сколько стоит правда: ровно столько, сколько стоит голод чужой вдовы.

— Сколько ты заплатила?

— Двенадцать рублей.

— Это много.

— Это всё, что у меня было. — Она сказала это ровно, без жалобы, и именно поэтому мне стало стыдно за то, что я спросил. — Я не к тому, чтобы ты меня жалел. Я к тому, что комиссия приедет, и у неё будет инструкция, и в инструкции будет написано, что земля с подземным жаром опасна. И доказывать обратное будем мы. И у нас будет четыре месяца.

— Я могу доказать, — сказал я. — У меня есть чаша.

Я рассказал ей. Всё: купол, пять ветвей, отпечаток, пятирých, выжатый камень, «Проточную», Сыся Вершина, который закрыл два горизонта двадцать лет назад, и двести десятин под сад.

Она слушала так, как слушают люди, привыкшие слушать плохие новости: не перебивая, не морщась, и в конце задала один вопрос.

— Сколько человек нужно, чтобы пустить жар по ветвям?

— Считаю.

— Примерно.

— Двадцать пять. Тридцать, если новички.

— И где ты их возьмёшь?

— У Мирона пятнадцать даст. У нас на «Шестерне» че-

ловек десять сможет. Остальных учить.

— Учить сколько?

— Месяц, — сказал я. — Если они не испугаются.

Она встала, подошла к окну, постояла. В окно было видно, как Егор тащит мешок, и как мешок у него валится из рук, и как он поднимает его и тащит дальше, и как от этого у него сбивается шапка.

— Ты знаешь, что тебе нужно ещё? — спросила она, не оборачиваясь. — Кроме людей.

— Бумага, — сказал я. — Чтобы меня слушали.

— Именно. — Она обернулась. — Ты сейчас кто?

— Хранитель жилы.

— По чьему назначению?

Я помолчал.

— По твоему. Устному.

— Устного назначения нет, — сказала Таисия. — Для комиссии ты человек без чина, который спускается в шахту и говорит, что земля тёплая. Тебя запишут как «привлечённого понятого» и не дадут слова. А если ты придёшь с чином, тебя запишут как «хранителя удельной жилы» и дадут слово, и слово это будет в деле.

— И что для этого нужно?

— Приказ. — Она вернулась к столу, достала из папки чистый лист, перо, и положила передо мной. — Я его подпишу. Но я не знаю, что в нём писать, потому что я не знаю, что такое хранитель. Напиши сам.

Я взял перо.

Перо было чужое, хрустящее, с новым срезом, и я держал его как инструмент, который боюсь сломать. Я написал: «Приказ по удельному правлению Студёнца. Ввиду...» — и остановился.

— Что? — спросила она.

— Я не знаю, как это называется по-настоящему. — Я положил перо. — Хранитель жилы — это не должность. Это то, что человек делает. У нас его двадцать лет не было, потому что мёрзло, и от этого слово заржавело. Если я напишу «хранитель жилы», в столице спросят: а что это за чин, в каком он классе, сколько ему жалования.

— А как надо?

— Надо написать то, что они понимают. — Я взял перо снова. — «Надзиратель подземного тепла удельных земель». Или ещё глупее: «заведующий подземными работами по отводу жара».

— Напиши «заведующий», — сказала она. — Потом мы припишем в скобках: хранитель.

Я написал. Писал я долго, зачеркивал, и Фрол бы на меня посмотрел с ужасом, но Фрола в конторе не было: он в этот час сидел в подвале управы и переписывал старые ведомости, и это было правильно, потому что именно там, в подвале, лежало то, что нам было нужно больше всего.

Когда я кончил, Таисия прочитала, не садясь, держа лист двумя руками.

— «Обязан: вести наблюдение за состоянием подземного тепла на всех землях удела, составлять замеры, составлять план отвода, обучать людей, докладывать о всякой перемене». — Она дочитала и подняла глаза. — Ты сам себе написал работу, которой у тебя нет.

— Она будет.

— А если не будет?

— Тогда я буду числиться человеком, который эту работу не сделал. — Я взял у неё лист и положил на стол. — Это и есть должность: когда тебе дают не жалование, а ответственность. Жалование потом.

Она взяла перо, поставила подпись — мелкую, с длинным росчерком, — и посыпала песком. Песок она возила с собой в баночке, потому что в конторе песка не было, и это была единственная её слабость, которую я видел: она любила, чтобы бумага была сделана как следует.

— Теперь приятная новость, — сказала она, дуя на подпись.

— Какая?

— Я ездила в столицу не только за ведомостью. — Она убрала лист в папку. — Я просила отсрочку по отцову долгу. Мне дали год.

— Поздравляю.

— Не поздравляй. — Она встала. — Отсрочку дали под залог. А залог — это удел. Если комиссия признает земли пустыми, залог рассыплется, и через год я буду должна вдвое

больше, чем сейчас.

— Сколько?

— Сорок восемь тысяч.

Я не сказал ничего. Сорок восемь тысяч — это была цена всего: всех шахт, всех изб, всех людей, которые работали на нас за хлеб и камень.

— Ты понимаешь теперь, — сказала она, — почему я приехала к тебе, а не к кому-нибудь?

— Понимаю.

— Нет, ты не понимаешь. — Она надела перчатку, потом сняла, потому что застегнуть не получалось, и застегнула, и опять сняла: я видел, что она волнуется и сердится на себя за это. — Я приехала к тебе, потому что ты единственный человек в этом уделе, который не верит, что земля умерла. Все остальные верят. Даже те, кто работает на ней. Они верят, что земля умерла, и ищут, где бы пристроиться к живой. И я бы поверила. Я бы поверила, если бы ты не был упрямым и не пошёл бы на этот холм.

— Я пошёл на холм, потому что ты меня отпустила.

— Я тебя отпустила, потому что мне больше некого было отпускать.

Она надела перчатку, застегнула, выпрямилась, и стала опять княжной, а не женщиной, которая не может справиться с пуговицей.

— Четыре месяца, Глеб, — сказала она. — Весной комиссия спросит ровно одно: будить или закрыть. И если ты к

весне не докажешь, что будить можно, я подпишу «заккрыть» сама. Потому что сорок восемь тысяч я не заплачу, и значит, заплатят люди, которых переселят, и я знаю, как это бывает: переселяют зимой, и дети мрут.

— Я докажу.

— Докажи. — Она пошла к двери, и у двери остановилась, не оборачиваясь: — И ещё. Фрол твой в подвале управы третий день сидит. Он там спит на мешках. Настасья из Ключей приходила, спрашивала, не убили ли вас, и сказала, что колодец у них этой зимой горячий, как никогда. И что речка под холмом не стала.

— Не стала?

— Не стала, — повторила Таисия. — В Ключах речку всегда к Рождеству прихватывало, а нынче нет. — Она вышла. — Проверь это.

Я остался сидеть.

В конторе пахло песком от её подписи и чем-то ещё, что остаётся после женщины, которая ушла и которую ты не обнял, — и я поймал себя на том, что сижу и думаю о перчатке, которую она не могла застегнуть, и мне стало стыдно, потому что стыдно должно было быть за сорок восемь тысяч.

Я встал, надел тулуп и пошёл на двадцатый горизонт, потому что думать о сорока восьми тысячах я мог только под землёй, где от этого не было ни холодно, ни жарко.

Спускались мы с Радышем. Клеть шла медленно: ворот крутили двое, и оба были из новых, и Радыш стоял у проёма

и покрикивал на них так, как кричат на лошадей, — ровно, без злобы, одним и тем же словом, которое они понимали. Я смотрел на стенки ствола, на которых в свете лампы шевелились наши тени, и считал крепи, и на сороковой крепи перестал считать, потому что увидел, что крепь мокрая.

— Давно? — спросил я.

— С неделю, — сказал Радыш. — Я думал, сверху натекло. А сверху сухо.

— А снизу?

— Снизу и идёт.

Мы дошли до двадцатого и пошли по ходу. Вода была слышна издалека: она шла с тем звуком, который слышат ноги раньше ушей, — мягкий, частый, как будто где-то рядом бьют веником по мокрому.

— Глеб, — сказал Радыш, когда мы подошли. — Ты погляди. Ближе нельзя, жжёт.

Я посмотрел. Из щели шла не струйка, какой она была четыре дня назад, а целая жила воды, в палец толщиной: она текла по полу, уходя под крепь, и пар от неё поднимался к потолку и там расстилался ровным слоем, от которого потолок блестел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.